

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Рассказы



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Утро красит нежным светом.....	3
Уроки музыки	7
Частная жизнь Александра Пушкина.....	15
Отдельные неудачи среди сплошных удач	20
Девушка моей мечты	28
Нечаянная радость.....	35

Текст печатается по изданию:

Окуджава Б. Ш. Девушка моей мечты. М. 1988.

OCR и правка: SDH, Ноахег и Александр Белоусенко

© Б. Ш. Окуджава (наследники), 2003, 2004

© «Im Werden Verlag». Составление и оформление. 2003, 2004 (дополнено)

<http://www.imwerden.de>

info@imwerden.de

УТРО КРАСИТ НЕЖНЫМ СВЕТОМ...

Посвящаю моему дяде Николаю
и памяти моей тети Сильвии

Прошлое, давно прошедшее, минувшее, бывшее, история — какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с непокрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж это история? Да ведь это было совсем недавно: лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы. Тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь, и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. Она сказала белыми губами:

— Вы что, ничего не слышали?

— Слышали, — сказал дядя Николай, — столько чего слышали... А что вы имеете в виду?

— Война, — сказала она.

— А-а-а, — засмеялся дядя Николай. — Таити напало на Гаити?

— Перестань, — сказала тетя Сильвия. — Что случилось, дорогая?

— Война, война... — прошелестела соседка. — Включите же радио!

По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно — все было прежним.

— Вот что, — сказала тетя Сильвия дяде Николаю и мне, — бегите в магазин и купите побольше масла... Я знаю, что такое война!..

Мы отправились в магазин. Народу было много, но продукты, как обычно, лежали на своих местах. Мы купили целый килограмм масла.

— Может быть, еще? — спросил я.

— Ты сошел с ума! На нас уже смотрят. Стыдно.

Мы принесли то масло домой. Кто знал, что война так затянется?

По улицам потянулись новобранцы. Среди них были и молодые женщины. Все вдруг переменялось. О море думать не хотелось.

Пришел мой друг, Юрка Папинянц.

— Ну, — сказал он, — в военкомат не идешь?

— Конечно, — сказал я, — пошли.

По дороге я сказал:

— Хорошо бы в один танковый экипаж попасть...

— Хорошо бы, — сказал Юрка.

Маленькое, робкое сомнение пискнуло где-то в глубине и смолкло.

В военкомате дым стоял коромыслом, грохотали сапоги, толпились люди, плакала какая-то женщина, трудно было протолкнуться.

— Чего пришли? — спросил усталый маленький капитан по фамилии Комаров.

Да вот пришли, хотим против фашистов воевать... — сказал Юрка. — Хорошо бы в один экипаж.

— Вызовем, вызовем, — сказал капитан. — Идите.

«Вот бюрократ чертов!» — хотел сказать я, но сказал иначе:

— Зачем же вызывать, когда мы сами — вот они? Оформляйте, чего уж тут...

— А ну идите отсюда! — вдруг заорал он.

И мы ушли.

— Наверное, мы неправильно вошли, — сказал я, — что-нибудь не так сказали... Все-таки на фронт просимся, а не на базар...

На следующий день мы отправились снова, но нас опять выгнали. И на третий день тоже, и на четвертый... Но на восьмой нас не выгнали.

— Э-э-э-э, — сказал капитан, — черт вас дерит совсем! Надоели, будьте вы неладны...

Я хотел сказать ему, что и он нам надоел тоже, но не сказал. Мы уже привыкли друг к другу, как родственники.

— Куда ты торопишься? — сказал он мне. — Ну куда? Посмотри на себя: ты ведь совсем цыпленок.

— Ничего, — сказал я браво, — легче маскироваться.

— Э-э-э-э, — сказал он, — надоели! — И вручил нам по пачке розовых повесток: — Чтобы к вечеру разнесли. Всё!

— А на фронт? — спросили мы.

— Я сказал — всё! — крикнул он, багровея, и мы отправились.

Мы ходили по улочкам Сололаки, и по Грибоедовской улице, и по Судебной, и по улице Барнова и спускались за Александровский садик и в переулочки за оперным театром.

В одном из дворов среди низко подвешенных сохнувших простынь и рубашек стояла перед нами еще молодая женщина с большим животом и с мальчиком на руках, и за юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали, поэтому стало очень тихо.

— Кого хотите? — спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущую под ветром повестку.

— Мнацаканов Альберт, — сказал я и протянул листок.

Это мой муж, — сказала женщина. — А что хотите?

— Вы ему передайте и распишитесь...

— Он на заводе... — крикнула она, оглядываясь на соседей.

— Слушай, Офелия, — сказал старик, — бери...

Одной повесткой стало меньше.

Вот так мы ходили по дворам. Месяц, два. Каждый раз мы спрашивали капитана Кочарова:

— Когда же нас-то?

— Вызовем, вызовем, — говорил он резко, — Идите. Всё. Надоели...

На улицах появились первые раненые из госпиталей.

Они выбирались погулять, одетые в одинаковые халаты, бритоголовые, перекрещенные бинтами. Бродили по проспекту Руставели, сидели в скверах на лавочках. Мы им завидовали. Патрули их пока не трогали.

Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заляпанные грязью орудия, рваные, мятые гимнастерки на солдатах, офицеры, похожие на солдат. Поползли слухи, что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе нам пришлось спешно отступить, что было окружение, что многие остались «там». А мы разносили повестки, будь они неладны! И наша отчаянная храбрость, и ненависть к врагу, и героизм, который распирал нас, и все наши удивительные достоинства (мои и Юркины) — все это засыхало на корню.

В один из этих дней появился в нашем доме дядя Борис, младший брат тети Сильвии. От него долго не было известий, и вдруг явился. Он служил водителем грузовика. Я застал его дома, когда он мылся над тазом. На полу валялась его замызганная гимнастерка. В доме пахло потом, бензином, чем-то горелым, невыносимым и восхитительным.

— Что же вы, — сказал я Борису, — взяли и драпанули?

Он ничего не ответил, только отфыркивался.

— Уж, наверное, можно там было где-нибудь зацепиться, что ли, — продолжал я строго. — Испугались, что ли.

— Заткнись, — сказал он, — будь человеком...

И ушел в другую комнату. И там он сбросил с себя оставшееся на нем военное, вытащил из шкафа свой единственный гражданский костюмчик, оделся и пошел из дому. В окно я видел, как он шел по Грибоедовской — медленно, вальяжно, по-тбилиски... Наверное, он надеялся за несколько часов передышки отыскать кого-нибудь из старых своих знакомых шоферов, кто, может быть, еще был в Тбилиси и кто, может быть, уже не надеялся снова увидеть его живым.

Не успел он пройти и двадцати шагов, как я с лихорадочной поспешностью напялил на себя его гимнастерку, галифе, сапоги, пилотку и, распространяя благоухание окопов, выскочил на Грибоедовскую и двинулся к Юрке Папинянцу. Просто так идти не хотелось — я ударил строевым шагом и так строевым прошел до самых Сололак, козыряя военным и счастливо избежав патрулей...

— Что же делать? — сказал я Юрке. — Когда же мы? Города сдают, земля горит...

— Ничего, — сказал он философски, — все будет.

...Бедный капитан Кочаров! Мы все-таки дожали его в один прекрасный день.

— Ладно, — сказал он, еле сдерживаясь, — черт с вами! Завтра придете с кружкой-ложкой. В 9.00.

— А повестки? — спросили мы.

— Бюрократы! — закричал он. — Какие повестки, когда я вам самим говорю! —

Но, увидев наши лица, швырнул розовые листки, отошел к окну и прохрипел оттуда:

— Сами будете заполнять, черт вас дери! Моя рука не виновата, запомните. Сами пишите!

Не было ни военкомата, ни капитана Комарова, ни стен, ни Тбилиси...

— Послушай, — сказал я Юрке, — я побегу домой, а ты принесешь повестку... Как будто я ничего не знаю.

Я ворвался в дом и сел у окна, посвистывая. Душа ликовала, коленки дрожали, на вопросы домашних отвечал невпопад. Наконец в дверь позвонили, и тетя Сильвия пошла открывать. Не помню, что уж там говорили, какие были восклицания, ссорились, или пели, или Юрку Папинянца выталкивали вон, или, наоборот, торжественно несли на руках, не помню. Он, видимо, убежал, а тетя Сильвия вошла в комнату с розовой повесткой в руке.

— Повестка? — сказал я как ни в чем не бывало. — Действительно пора. Засиделся...

— Этого не может быть! — крикнула тетя Сильвия, оглядывая меня с подозрением. — Это ошибка. Тебе только семнадцать... Это ошибка. Я сейчас пойду к военкому...

— Нет, — сказал я со страхом, — это не ошибка. Разве вы не видите, что происходит кругом?

— Я в свое время, — сказал дядя Николай, — хотел убежать к индейцам... А ты, мальчик, знаешь, куда ты торопишься?

— При чем тут индейцы? — сказал я и сам удивился, как я это сказал.

— Это ошибка, — машинально повторила тетя Сильвия. — Я должна пойти...

— Тетя Сильвия, — сказал я твердо, — не надо идти в военкомат. Я ведь все равно уже решил, вы же это прекрасно понимаете. Сшейте мне лучше вещевого мешок.

Она заплакала. Розовая повестка, покружившись, улеглась на полу.

...Счастлирое мгновение! Мы с Юркой получили направление в 10-й ОЗМД (отдельный запасной минометный дивизион). Вечером тетя Сильвия и дядя Николай проводили меня до трамвайной остановки. Трамваи ходили редко, так что я успел все сказать и все выслушать. А потом пришла «десятка» и повезла меня на вокзал. Я стоял на задней площадке, одетый в серые бумажные брюки и футболку. На ногах моих были старые спортсменки. Редкие пассажиры, наверное, думали, глядя на меня, что мальчик собирается в деревню — менять вещи на продукты... Наверное, они так думали, но я не волновался: я-то знал, кто я такой на самом деле!

Мы встретились с Юркой Папинянцем на вокзале. Наш путь лежал в Кахетию, где размещался наш неведомый и замечательный 10-й ОЗМД. Поезда ходили редко. Вагоны брались с боем. Кое-кто умудрялся ехать на крыше. А мы с Юркой даже не пытались врываться в вагон, а сразу влезли на крышу. Было страшно, но до утра вытерпели.

Мы думали, что увидим большой военный городок, где ряды минометов перемежаются с рядами танков, орудий, броневиков, а увидели райское местечко с двухэтажной школой, где размещались штаб и столовая да жили командиры. А совсем недалеко, на старом винограднике, были разбиты парусиновые палатки, в которых предстояло жить нам, солдатам. Командиры и сержанты — все были люди бывалые, кадровые, а солдатами предстояло стать нам — девятиклассникам и десятиклассникам из Тбилиси. Нас съехалось около ста человек. Кто в чем. Шли дни, а об обмундировании никто не заикался. Единственное, что всем нам выдали, были широкополые шляпы защитного цвета, предназначавшиеся для горных войск.

Шли дни. Мы обучались минометному искусству с раннего утра до позднего вечера.

— Батарея, смиир-р-на! — кричал сержант Ланцов, и вдруг его взгляд упирался в кого-нибудь из нас, ну, допустим, в меня, и он багровел и командовал: — Акаджав, два шага вперед шаго-о-ом марш! (Он никак не мог привыкнуть к моей фамилии, ему все время казалось, что окончание «ва» должно относиться к женщине.)

И я делал два шага вперед. И он подходил ко мне.

— Что это вы расхлябанный какой! — начинал он грозно. — Не выспались?.. —

Но затем на лице проступала скорбь, и он добавлял тихо и обреченно:

— А ну, подтянись...

Я подтягивался из последних сил, я делал все возможное, чтобы выглядеть солдатом, но что я мог? Бахрома на моих брюках подступала к коленям, от футболки оставались рукава да кокетливый воротник. Нынешние хиппи взяли бы меня за образец, но они тогда еще не родились, а мы торопились на фронт. Поэтому сержант Ланцов махал рукой и отправлял меня в строй.

Затем звучала команда: «Шагом марш! Запевай!» Мы дружно ударили босыми ногами в алазанскую пыль, и я запевал:

— Утро красит нежным светом...

Наконец нам раздали настоящие карабины и брезентовые патронные сумки. Был грандиозный праздник.

— Вот видишь, — филозофски заметил Папинянц, — я же говорил: постепенно все будет...

И действительно, вскоре мы познакомились с настоящими гранатами, и наши командиры кинули несколько в овраг. Запахло порохом. Однажды вечером после отбоя нам всем раздали по две гранаты, и по два запала, и по брезентовому чехлу с двумя кармашками для гранат и с двумя отделениями для запалов.

— Значит, так, — сказал сержант Ланцов. — Граната сама не взорвется, но ежели мы в нее вставим запал, вот так, затем выдернем чеку, вот так, тогда можно бросать...

— А можно не бросать? — пошутил кто-то.

— Можно и не бросать, — с усмешкой сказал сержант Ланцов. — Сделайте все, как положено, отойдите во-о-он туда и положите гранату в карман...

Охотников, разумеется, не нашлось.

— Все поняли? — спросил сержант.

— Все! — крикнули мы нервно.

— Учтите, — добавил он, — запал — штука нежная... А теперь наденьте гранаты на пояс, как положено, и расходишь по палаткам спать.

— Прямо с гранатами?!

— Ага, — сказал сержант, — и чтоб не вздумали кто снять.

Я лежал на своем матрасе и боялся дышать. Г

анаты упирались в бок.

— Юрка, — спросил я едва слышно, — ты не помнишь, если запал отдельно от гранаты вдруг взорвется, она тоже взорвется или нет?

— Не помню, — прошептал он.

— Ребята, — сказал кто-то, — главное — во сне на нее не лечь. Главное — не давить на нее, проклятую...

— Разве она от давления взрывается тоже? — спросил я.

— Кто ее знает, — ответили из темноты, — а лучше не давить...

Прошло еще некоторое время, и внезапно прекрасным, как это говорится, кахетинским утром повели нас в баню, откуда мы вышли обмундированные с головы до ног. Правда, это тоже была не совсем новая форма, и, может быть, маленькая латочка на левом плече моей гимнастерки была на месте, куда однажды ударила вражеская пуля... По все равно мы выглядели настоящими солдатами, нам выдали настоящее оружие, и мы были готовы помериться силами с фашистской ордой, и эшелон увозил нас из райского местечка... Вот так это было.

Я рассказал обо всем этом недавно моему знакомому. Мой знакомый, человек пожилой, серьезный, послушал и сказал:

— Наверное, вы не выдумали... Но ведь время какое было — суровое, тревожное, а у вас все какие-то шуточки, смешочки. Вы лучше как-нибудь об этом иначе рассказывайте...

Я пытался, но ничего не вышло: так умею, так помню.

Ну а потом был фронт, и ранение, и госпиталь, и все, что полагается. А после пришла победа. Но о фронте я рассказывать не буду, ибо о нем так много рассказано в книгах и в кино, что я начинаю путать: что — мое, а что — чужое; что было со мной, а что — с другими. Что же касается победы, то, хотя я и не совершил ничего героического и, наверное, был неважным солдатом, особенно рядом с другими замечательными воинами, все-таки живет во мне уверенность, что без меня победа досталась бы труднее.

УРОКИ МУЗЫКИ

Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча; почему-то с карабином; почему-то делающий не то, что надо, и потому виноватый перед сержантом Ланцовым.

Сержант Ланцов — старик тридцати лет, кадровый, сколоченный из мореного дуба, глядящий на меня с подозрением и болью, учитель жизни и минометного искусства, которое есть первейшее для нас, то, что вы городские и шибко грамотные, это вы забудьте, так и так, и разотрите... это вам не географией баловаться... Как стоишь! Встать, сесть!.. Смирна! А ну подравняйсь!..

И все в таком роде. И на каждые три слова два несловарных, или наоборот, в зависимости от обстоятельств... Выше ногу! Шире шаг! Так и так!.. Акаджав, убрать живот! (У меня, оказывается, и живот есть. А я думал — только позвоночник.) Чего лыбьтесь? На губу захотел, так и так?.. Стой! Вольно... Теперь глядите: это чего у меня? Какая ж это бомба? Ты куда приехал, так и так? В минометную... Значит, чего у меня в руках? А сколько она весит? Весит шестнадцать килограмм, понятно? Осколочного действия, понятно? Засаживаем в ствол, а руки сбрасываем, понятно? Впереди у нее чего? Кто знает?.. Эх вы, грамотные, так и так... Впереди у нее мембрана, понятно?

Широкоскулое, губастое лицо учителя вызывает непродолжительный шок. От хриплого баритончика холодеет спина. Но мы привыкаем стремительно, вот уже нестрашно: в глазах, в голосе, в каждом жесте — вдохновение фанатика, хотя словарь все еще оскорбляет. Впрочем, и это ненадолго...

— Я вам поулыбаюсь, так и так!.. Мембрана очень чувствительна: легкое прикосновение к предмету приводит ее в действие, и мина разрывается...

Это он произносит строго по инструкции, изысканно и гладко.

— Она как полоснет осколками, и проищи, так и так, понятно?

— А может, все-таки мембрана? — говорит кто-то из смельчаков.

— Разговорчики! — кричит Ланцов. — Акаджав, повторите.

— Разговорчики, — повторяю я.

Все смеются в ладошки. Но перед ним долго не посмеешься.

Тишина. Осень. Мелкий дождь. В груди сержанта накапливается знакомый мотив, уже звучат отдельные нотки.

— Повторите про мину, — говорит он угрожающе.

— Если прикоснуться к мембране, она как полоснет, и прощай...

Уже год идет война, а он на фронте так и не побывал. Продолжает свою кадровую службу в заштатном учебном минометном дивизионе, обучает новобранцев, выстраивает их в маршевые роты, а сам не удостаивается и считает себя несправедливо обиженным. Вот почему противоречивые чувства разрывают ему сердце: с одной стороны, он, понимаешь, готовит пополнение, кадры. Всю душу, понимаешь, вкладывает. Не может сдержать слез, когда провожает очередных маршевиков, им вытесанных из ничего, ну совсем, так и так, из ничего. А с другой стороны, вот они, понимаешь, уходят туда, на передовую, понимаешь, становятся героями, а он, понимаешь, здесь припухает, так и так...

— Товарищ сержант, — робко спрашиваю я из строя, — значит, вы сами на фронте-то не были?

— Отставить разговорчики! — кричит он.

Во время перекура мы сидим на бревнах. Он в центре. Он рассказывает, скольких он уже обучил и как они там сражаются.

— А что же это вас-то никак не пошлют на передовую? — спрашивает кто-нибудь.

— А кто ж его знает, — говорит он без охоты. — Может, позабыли, а может, здесь я нужен... А ну кончай перекур! Становись! — И знакомая музыка разливается по учебному полю. — Бегом марш!.. По-пластунски! Давай-давай! Брюхом к земле, так и так! Акаджав, отставить карачки, на брюхе ползи, так и так! Грязно?.. А на передовой чисто?! Что значит устал, так и так! Будешь ползти, куда весь пар не выпустишь... Грязно ему, понимаешь... Встать! Бегом!..

И сам бежит с угрожающим ликом, и сам бросается брюхом в грязь и ползет с ожесточением.

— У меня не сачковать, так и так! Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим!.. Окопаться!

И мы вгрызаемся в грязь, в камни, в корни, и воздух насыщен сопением, звоном, чавканьем, выкриками сержанта, пронзительной музыкой, мечущейся над нами от зари до зари.

Трудно сейчас представить, как я все это проделывал, как не отвалились руки, ноги. Я ли то был, тот кривоногий солдатик с оттопыренными ушами, выброшенный из домашнего убогого тепла прямо в ожесточенные пятерни сержанта Ланцова? Я ли то был?

И по вечерам, прежде чем грянуться в полуобморочный сон, не до меня ли доносились вязкие нашептывания сержанта из дальнего угла:

«Смерть чего хочет? А того, понимаешь, чтобы тебя перехитрить... Ты от нее беги, а она, так и так, быстрая, сука... Значит, ты не беги, а зарывайся. У нее — пуля, а у тебя чего? Лопата. У ней — штык, а у тебя чего? Карабин, понимаешь, заряженный. Вот так оно и идет: она пулю, а ты лопату, она штык, а ты пулю, она тут как тут, а у тебя окопчик, так и так... Ее перехитрить надо... Чего? За какой еще пенек? Эх ты, грамотный... за пенек... А воевать кто будет?.. Чего? А ежели доберется до тебя, стало быть, перехитрила...»

Я уже смутно вспоминаю это свое прошлое. Я погружен в горькую оглушающую музыку, встаю под нее, бегу, вылизываю котелок, ползу по грязи, таскаю мины, выслушиваю оскорбления... И все под нее.

Мы иногда сопротивляемся. Мы иногда пытаемся примирить эти грязь и ожесточение, эти визгливые, дикие мелодии с иными нотами, еще трепещущими в наших душах. Дрожь обиды еще сотрясает наши тела. В поисках гармонии мы выглядим нелепо. Но ведь мы маленькие

люди с тонкими шейками и детским опытом, и поспешные мысли о расплате с обидчиком гудят в наших головах: отомстить, ответить, оскорбительно глянуть в голубые прищуренные глаза, усмехнуться, не опускать головы, помнить, что ты — центр мироздания, царь природы, пусть в шинели с чужого плеча, пусть на кривых ножках в блеклых обмотках...

Мы идем по пустынному, развороченному полю. Пахнет супом с вязкими ржаными галушками и единственным лавровым листком на всю батарею. И словно в небесах возникает хрипловатое стремительное: «за!» — затем с понижением медленно, словно затаившееся в засаде: «пе-е-е», — и внезапно, как выстрел: «вай!..»

— Вай, вай, вай! — выкрикивает кто-то из кавказцев.

Он ставит нас по стойке «смирно», чтобы до нас, понимаешь, дошло наконец, что это не песенки какие-то там, хочу — пою, хочу — не пою, в школе, понимаешь, там под всякие патефоны, так и так!..

«Кругом! Шагом марш!.. — И прочь от столовой, от клейких вождеденных галушек... — Это вам песня, так и так! Боевое задание... Выше головы! Будете у меня ходить хоть до отбоя, так и так, и после отбоя... А кто-то у меня два наряда вне очереди получит!.. Кругом! За-пе-е-е-е-вай!»

И мы поем, черт бы его побрал.

После обеда мы сидим у столовой в ожидании построения. Дымок от самокруток вьется в сентябрьское небо. Сержант Ланцов, раскованный и вальяжный, треплется с другими сержантами. И вдруг все преображается. Лейтенант Федоринин, командир нашей батареи, аккуратно ступая по лужам, подходит к нам... Это особый разговор.

Лейтенант — фигура малопонятная, почти таинственная. Мы его видим редко. Ему слегка за двадцать. Он строен и кудряв. И вздернутый носик, и розовые щеки, и тонкие губы, и сияющие хромовые сапоги, и два кубика в петлицах — все это наш командир батареи. Он какой-то другой, загадочный, из иных сфер, легко и плавно опустившийся на эту грязную землю... У меня холодеет спина.

— Батарея! — кричит сержант.

— Вольно... — снисходит командир батареи.

Лейтенант Федоринин — это почти божество, и кубики на его петлицах кажутся мне ромбами. Что уж говорить о командире дивизиона капитане Бовшике? Его я видел однажды, да и то издали, а если бы вблизи — грянулся бы, наверное, бездыханным.

По сержантовым скулам разливаются темень и свет, и скорбь заволакивает его голубые глаза, и хриплый его баритончик доверительно и неоднократно упоминает мое имя в том смысле, что Акаджав, понимаешь, самый нерадивый — и окапывается медленно, и на турнике подтягивается всего два раза, будто девка...

«Два раза? — усмехается лейтенант. — Ну и ну...»

И когда все ползут по-пластунски, он норовит на карачках...

«На карачках?» — не верит лейтенант...

«Мы все, товарищ лейтенант, бегим цепью, а Акаджав не бегит. Гляжу, кто, понимаешь, отстающий? Обрато Акаджав! Все, понимаешь, стараются, сил не щадят, а Акаджав с прохладцей... Я, товарищ лейтенант, с им в разведку не пойду...»

«Акаджав, Акаджав, ты, конечно, не прав», — думаю я обреченно.

Лейтенант Федоринин прищуривается в меня:

— Ну, Окуджава, что делать будем?

Я молчу. Все, что было сказано обо мне, наверное, правда. Это как песня, из которой слова не выкинешь. Но что-то душит меня, мешает мне ответить. Я хочу вздернуть голову, но она клонится. Я хочу открыто глядеть лейтенанту в лицо. Но вижу носки своих перепачканных грязью ботинок. Это грязь войны, грязь моей судьбы. Разве она не укор вам, мои командиры? Разве ее недостаточно, чтобы выглядеть в ваших глазах достойным хотя бы сочувствия?

— А почему обувь грязная? — спрашивает лейтенант.

— Вот, понимаешь... — бормочет Ланцов.

Два наряда вне очереди! — говорит лейтенант звонко улыбаясь. — Сержант, через недельку доложите, какие успехи...

Через недельку я подтягиваюсь пять раз; ползя по-пластунски, словно ящерица, сливаюсь с грязью, задыхаюсь, выплевывая землю, подношу мины, готов умереть по мановению сержантова пальца... Я уж не говорю о том, как с помощью травы и тавота довожу до блеска свои ботинки... Где-то в глубине души теплится надежда, что лейтенант Федоринин видит все это, скрываясь за кустами, и одобрительно кивает кудрявой головой... Сержант окапывается со мною рядом, расплескивая вокруг хриплые проклятия немцам, их танкам, их орудиям, их матерям и женам, и Гитлеру, и... так вашу растак! Врешь, не возьмешь!.. Ланцова не возьмешь... Ланцов вас таких сам в душу... Натё, гады! А вот еще... И так, и так!.. Я заморожен его откровениями и потому останавливаюсь и слушаю этот мотив, который с каждым днем становится мне понятнее.

«Акаджав, опять сачкуете! Ройте глубже, так и так!» — и смотрит на меня почти с омерзением.

Вечером, за десять минут до отбоя, я тянусь перед лейтенантом из последних сил. Я уверен в том, что на этот раз все у меня в ажуре: я был скор, ловок и красив: я ползал так, что вдавил грудную клетку; я окапывался молниеносно (пусть этот окопчик станет могилой вражескому солдату); я без запинки ответил устав; разобрал и собрал затвор карабина; по тревоге выбежал чуть ли не самый первый... остальные там чухались, а я уже выбежал...

— Когда окапывались, товарищ лейтенант, он, понимаешь, остановился и глядит, будто спит... Тут, понимаешь, каждая минута дорога...

— Рассеянность, товарищ Окуджава, — говорит лейтенант, — это бойца не красит...

— Это не рассеянность, — говорю я с отчаянием. — Это сосредоточенность...

Впрочем, не берусь утверждать, что именно эту фразу я произнес тогда: очень может быть, что попросту украл ее из фильма Владимира Мотыля, в котором незабвенный Олег Даль произнес ее с подкупающим очарованием. Не помню. Но что-то такое я из себя выдавил, пользуясь правом царя природы и еще подогреваемый едва слышной музыкой домашнего тепла, до которой, кроме меня, уже никому не было дела.

В два этажа нары из сосновых досок — пристанище нашей учебной батареи. В самом конце — топчан сержанта, отгороженный от нас брезентовым пологом. У него там свой фанерный сундучок, в котором драгоценности и тайны, и он их перебирает с любовью, когда удается на несколько минут избавиться от нас перед отбоем...

«Личное время, понимаешь: уставчик подзубрить, письма накатать... Мне писать некому: моя деревня под немцем. Ты, Акаджав, чего стоишь по стойке «смирно»? Садись... Личное время, понимаешь...»

Он на меня не смотрит, роется в сундучке, вынимает открытку, рукавом с нее стирает пыль...

«Я ведь тебя зачем позвал? Хочу, понимаешь, спросить: как дальше будем? Так все и будем отставать? Мало я тебя гонял?..»

«Вполне достаточно...» — говорю я.

«Могу и больше... — Скулы у него начинают двигаться, но смотрит он в сундучок... — Знаешь, как могу? Весь пар, так и так, выпущу... И не таких ломал. Знаешь, какие тут были? Уж они такие городские, такие грамотные, такие все из себя гордые... Ладно, так и так, я вам поскалюсь... А теперь они с передовой знаешь чего пишут? Спасибо, мол, сержант, за науку, очень пригодилась, понимаешь...»

«И я напишу», — говорю я...

«От тебя дождешься, как же...»

И вдруг кричит:

«Опять ботинки нечищенные! Вы у меня поразговаривайте! Чтoб начистить!.. Вот я сейчас, так и так, карабин проверю... Ну ежели, понимаешь, что не так, так и так, будете, понимаешь, до утра у меня вертеться... Крууу-гом!..»

Мне снится сон.

— Товарищ сержант, — спрашиваю я, — почему вы меня все время оскорбляете?

— Это вы меня оскорбляете своим внешним видом, — говорит он, — своими тонкими ручками, усмешкой, которая должна меня унижить.

— Это вы унижаете мое достоинство, — говорю я.

— Меня оскорбляет ваше наплевательское отношение к нашему общему делу, — говорит он.

— Вы все время коверкаете мою фамилию, — говорю я.

— Пытался вызубрить, — вздыхает он, — ничего не получилось. Я буду называть вас товарищ боец, и по уставу, и необидно. Согласны?..

Это, видимо, так преломился подслушанный мной разговор.

Случайно долетело:

«Что это вы фамилию его коверкаете?»

«Да я, товарищ лейтенант, замучился. Заучивал, заучивал, понимаешь...»

«Ну-ка, повторите, — смеется лейтенант Федоринин, — ну-ка...»

«Акаджав»

«О-куд-жа-ва, — диктует лейтенант, — повторите...»

«А-кааад-жав», — старательно выговаривает Ланцов.

«Н-да, — говорит лейтенант и внезапно кричит: — К завтрашнему чтобы выучить, так и так! Смотрите у меня!..»

Кто-то говорит:

«Снег пошел!»

Снег идет. В казарме холодно, сыро... Холодно ему, понимаешь! Телят в холоде держать надо — здоровше будут. Холодно... А на передовой, так и так, тепло?

Наконец внезапно наступает это самое утро, утро новой жизни или подведения итогов, уж и не знаю, как его назвать. Слышится привычная труба и истошный вопль Ланцова:

«Батарея, подъем!»

Все происходит мгновенно: кальсоны, галифе, ботинки... Выбегаю в темень, в дождь, в снег...

«А ну, пошевеливайся!..»

Тяжелый топот ног: сначала с грохотом по тайной надобности, затем на плац и растягиваемся в несколько рядов. Мощный тугой обнаженный торс сержанта перед нами:

«Делай и раз, два, три, и раз, два, три!»

Мне жарко, снежинки тают на плечах и спине. Бегу со всеми, не отставая, подтягиваюсь на турнике, выгибаюсь назад — вперед...

«Кому холодно?» — кричит Ланцов.

«Никому!» — кричит кто-то.

«Молодцы!.. Бегом! Стой! Шагом марш!.. Разойдись!..»

Умываюсь ледяной водой, и от моего тщедушного тела исходит пар, и сквозь этот пар мне видится моя новая жизнь. Чем же она замечательна? Она замечательна тем, что холод меня отныне не берет, и расстояния мне не страшны, и вырыть укрытие для миномета мне ничего не стоит. Заканчиваю копать, подбиваю стеночки — пульс нормальный. Где же вы, мои недавние усталость и отчаяние? И тяжелая звонкая непечатная дробь сержантовых претензий, не причиняя вреда, отскакивает от меня, как холодный дождь от дубленой кожи. Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки...

И вот наконец сержант Ланцов подзывает меня, и я готовлюсь к очередной порции его неудовольствия, а он говорит: — Акаджав, возьмите этих, погоняйте...

Передо мной — десять стариков лет по тридцать пять. Неловкие, сутулые, напряженные. Полусолдаты. Сегодня прибыло пополнение из запасного полка.

— Акаджав, — говорит сержант, — погоняйте их строевым, понимаешь, как следует. Вон они, понимаешь, сонные какие... Чтоб у меня, так и так, весело глядели!.. Это им не запасная богадельня...

До меня не сразу доходит. Чему же я могу научить их, я — самый несмышленный, самый нерадивый, с тонкими городскими ручками, с тонкими кривыми ножками, закрученными в обмотки?.. Уж не смеется ли сержант Ланцов, не мстит ли мне за жалкие попытки отбиться от его неприязни? Но сержант Ланцов на плацу смеяться не умеет. Значит, это всерьез, и я действительно кажусь ему достойным этого великого назначения?

«Смирна! — команду сдавленным голосом. — Шаго-о-ом марш!»

И веду понурую десятку в дальний конец плаца. Этот плац, занесенный рыхлым, тающим снегом, кажется мне тесным и убогим с высоты моего непомерного роста. И плац, и лесок на краю, и сержант Ланцов, удаляющийся к казарме, и десять перезрелых моих учеников — все видится маленьким и призрачным, сливается там, внизу, у меня под ногами, и припадает к моим гигантским ботинкам. Все замерло в ожидании.

Мои запасники жмутся друг к другу. На них нелепые, не по росту шинели, выцветшие и пятнистые. Они не знают, куда им девать руки. Лица посинели от ветра. У одного из них на синем лице — красный увесистый нос. Этот постарше остальных: ему вполне сорок.

— Холодно? — спрашиваю по-отечески.

— Да уж не жарко, — говорит один из них.

— Сейчас бы в самый раз на печку, — говорит другой.

Тот, с красным носом, молчит. Он уставился на меня маленькими темными глазками, то ли с мольбой, то ли с укором. Он пританцовывает на месте, и его синие губы растянуты в подобие улыбки.

— Значит, холодно? — спрашиваю я. — А на передовой не холодно?..

Как это было давно! Я уже не помню, какой у меня, семнадцатилетнего, был тогда голос. Наверное, тенорок. Они насторожились при упоминании о передовой, так, слегка, но покорно ждали команду. Снисходительные взрослые перед воинственным петушком: ладно, давай, мальчик, поиграем, если тебе охота... Сейчас я поиграю... Вы у меня наиграетесь...

И я кричу ликующим тенорком:

— Смирна!

Что-то обрывается у меня в горле от напряжения, какая-то штучка встает поперек. Они замирают. Все отвратительно, не по-военному.

— Убрать животы! Грудь вперед! Вы что, понимаешь, игрушки играть? Мать, мать! — кричу я почему-то хриплым баритоном. — Это вам что, понимаешь, за супом очередь? Смирна! Напра-а-а-а-а-ва! Бего-о-о-о-ом марш! — И бегу рядом с ними.

Я бегу легко: для меня это забава, они — грузно, посапывают.

— Подтянись! — кричу тому, с красным носом, из-за него теряется строгая линия бегущей цепочки. — Кому сказал подтянуться!

Он торопится и при этом помогает себе руками, будто продирается сквозь толпу. Они думают — баловство. Сейчас они узнают, что значит наша минометная батарея. У нас на батарее... мы на нашей батарее...

— Раз-два, раз-два, раз-два!.. Стой! Шаго-о-ом марш!

Они идут, отдуваясь, отплевываясь. Я слежу за тем, с красным носом, он украдкой поглядывает на меня: ждет одобрения? Сутулый, в грязных ботинках, пожилой обозник...

— Строевым!

Они пытаются идти строевым, цари природы!..

— Отставить! Кто же так строевым ходит? Вот как надо. Смотреть всем! Нога идет так, понимаешь, так — так, так — так, всей ступней, тяни носок, так и так, чтоб земля дрожала, как один, понимаешь!.. Это вам не на прогулочку по переулочку! Рав-няйсь! Смирна! Шаго-о-ом марш!

Они идут опять не так, опять не так. Не так, так и так! Ладно, сейчас увидим. Я нахожу место на плацу, самое истоптанное, где мокрый снег перемешивается с грязью.

— Ложись!

Они медленно, с ужасом поглядывая на меня, опускаются в это месиво.

— По-пластунски, марш!

Они ползут, подпрыгивая ногами, выгибая спины.

— Брюхом к земле, так и так! Отставить карачки, на брюхе ползти! Грязно? А на передовой чисто? Что значит устали, так и так! Будете ползти, куда весь пар не выйдет... Грязно им, понимаешь! Быстрой, быстрой!.. Встать! Бегом! — И сам бегу рядом... — У меня не сачковать, так и так!.. Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим! Стой! Строевым! Выше голову!..

А тот, с красным носом, совсем не тянет... И тут я почему-то вспоминаю своего погибшего отца, которому сейчас тоже было бы сорок. Но мой отец был строен, и жилист, и ловок, и красив, хотя на холоде и у него нос краснел, но он в любой мороз ходил с открытой грудью, хоть и кавказец, и смеялся, если его уговаривали прикрыть горло шарфом... Мой отец всегда... У моего отца все было с иголочки... Сапоги у него всегда сверкали... У нас на батарее... Мы на нашей батарее... Наша батарея...

А может быть, лейтенант Федоринин в эту самую минуту наблюдает за мной, думаю я, пылая, и его круглое лицо еще круглее от улыбки, и он говорит Ланцову:

«Вам, сержант, понадобилось почти два месяца на подготовку новичков, а Окуджава... вы только глядите, поглядите-ка...»

«Конечно, — думаю я, — сначала им тяжело и обидно, зато после вы же меня, понимаешь, сами благодарить будете. Это сначала, понимаешь, непривычно, а потом...»

— Отделение, стой! Вольно! Можно покурить...

У края плаца лежит бревно, и они усаживаются и закуривают. Этот, с красным носом, вытянул длинные несуразные ноги, отдувается, на ржавой шинели грязь, ботинки черт знает в чем.

— Отставить перекур!

Они бросают свои самокрутки, тяжело поднимаются. Слишком тяжело!

— Быстро вставать, так и так! На рынок собрались? Хочу — пойду, хочу — нет?.. А ну сесть! Встать! Сесть! Встать — сесть! Встать — сесть!.. Встать!.. У нас на батарее, понимаешь... Привести себя в порядок, чтобы, понимаешь, выглядеть бойцами...

И сам же первый начинаю чистить перышки. Они отряхивают друг друга, тяжело дышат, тихо смеются... Этот, с красным носом, все-таки похож на моего отца, то есть совсем не похож, но что-то такое... Отец мой был ловкий, он быстро бы все почистил, а этот...

— Вот так надо, — говорю я, — вот так, — и помогаю ему соскрести грязь с рукава шинели.

И в ответ до меня доносится еле слышное, неловкое, тягучее, как мед:

— Да что вы, товарищ командир, сам управлюсь, ничего, ничего...

«Командир!»

— Да какой же я командир, — говорю я, — такой же солдат...

— Голос командирский, — говорит кто-то.

Я хочу сказать, что это не мой голос, но эти разговорчики, всякая эта болтовня, возишься тут с ними, понимаешь...

— Можно закурить. Они снова закуривают.

— Устали? — спрашиваю. — Ничего, здоровее будете. Они тихо смеются.

— А вы, — говорю этому, с красным носом, — что-то отстае, придется дополнительно побегать...

— Научимся, — отвечает тихо, — с непривычки тяжело...

— А на передовой легко? — спрашиваю я. — Там, понимаешь, немец разговаривать не будет: легко — тяжело. Там давай-давай, поворачивайся. А на печке потом, понимаешь, лежать будем. Верно я говорю?

— Верно, — отвечают нестройным хором.

Я присаживаюсь рядом. Я тоже устал, черт его подери. И из меня словно пар выходит и растворяется в сером небе. Сейчас за давностью лет, кажется, и не скажешь, о чем они тихо переговариваются, посасывая самокрутки, поплеывая в снежное крошево, но догадаться нетрудно. Вымысел мой доносит тихий шепоток, из которого являются на свет то дом, то окно, то женские глаза, то детская ручка, то праздничные пол-литра, то черная неизвестность, то вздох отчаяния, то шорох пожелтевшего письма... Если лейтенант Федоринин тайком понаблюдал за моей работой — назначит меня командиром отделения, и тогда прощай Ланцов в конце концов.

И на перекуре усядемся мы с ним рядом, и он скажет:

«А твои-то ничего, понимаешь... Я гляжу: они ничего, дело знают».

«А твои?» — спрошу я.

«Мои совсем никуда, — вздохнет он, — да я их, так и так, еще прижму. Это им, понимаешь, не игрушки».

«Правильно, — скажу я, — им потачки давать нельзя».

И спрошу:

«А тебе из дому пишут?»

«Нет, — скажет он, — некому. Мои все под немцем, растак-перетак!..»

И прочая галиматья.

А они сидят, покуривают. Вот сейчас я скоманую хриплым баритоном, и все это рыхлое, неловкое, далекое от войны натянется, напряжнется, зашагает, поползет, побежит... Но шевелиться не хочется. Слышится ровный шепот все о том же и о том же, о чем и сам я шепчу, засыпая по вечерам, о чем и сам думаю, стоя навтыжку перед сержантом, и чем он громче, тем слаще мой шепот... «Стол... диван... фотография мамы... первая трава у порога... яйцо всмятку... бабушкины руки... вечерний свет... девочка, которая не откликается... троллейбус...» Тихая музыка невозвратного.

А тот, с красным носом, молчит. Слушает соседа, кивает, улыбается. Что-то в его улыбке растерянное, мягкое, грустное. У него трое детей. Три девочки. Старшая — моя ровесница. Неужели и у нее такой же нос?.. Меня словно и нет. Так, все между собой. Десять случайных братьев, прекрасных и обогретых воспоминаниями.

— Кончай перекур, — устало говорю я своим обычным тенорком. — Засиделись.

— И то правда, — улыбается тот, с красным носом. Они медленно поднимаются с бревна. Тепло уходит.

Разглядывают меня с удивлением, словно впервые. И тот, с красным носом, похожий на моего отца, спрашивает меня:

— А тебе, сынок, из дому пишут? А мне никто не пишет, некому.

— Пишут, пишут, — говорю я, отворачиваясь, — все хорошо. — И командирское во мне готовится выкрикнуть: «Отставить разговорчики! Равняйся!..» — но я говорю громко, потому что они все ведь рядом, вот здесь: — Подравняйтесь... шагом марш... — И мы двинемся. — Все в ногу, а то сержант даст нам прикурить.

Наступает и еще один прекрасный день. И вот мы, чистенькие, из бани, в новой форме, поскрипывающие, уже нездешние, стоим на платформе у эшелона, чтобы через несколько минут отправиться уже как маршевая к передовой. Лейтенант Федоринин и сержант Ланцов провожают нас. Впереди — прекрасная неизвестность. Лейтенант улыбается. Мы теперь не его. Сержант грустен. Он опять остается. Вся надежда на наше геройство.

— А вы-то как же, товарищ сержант? — спрашиваю я без страха, как приятеля.

— А вот так же, понимаешь, — говорит он и краснеет, — опять здесь припухать, раздва, встать — сесть... таки так...

— А что, Окуджава, — говорит лейтенант посмеиваясь, — дадим вам сержантские лычки да оставим здесь трудиться, а? Хорошо ведь?

— Ну уж нет, спасибо, — смеюсь я, — уж я лучше туда. Доносится свисток паровоза. Пора.

— Слышь, Акаджава, — говорит сержант, — ты, понимаешь, может, напишешь, как там чего?

В голубых его глазах — тоска, скулы резче, обветренные губы сжаты в две тонкие бледные полоски.

— Напишу, напишу, — тороплюсь я, — обязательно, про всех напишу...

Конечно, я напишу, чтобы хоть от меня приходили к нему редкие смятые треугольники. Пусть читает.

— Ты не сердись, ежели чего, понимаешь, не так, сам понимаешь...

— Понимаю, понимаю, — говорю я, — чего там...

Мне грустно, мне жаль его. Я жалею сержанта Ланцова.

У меня никаких обид. Что вы, какие там обиды? Мы ведь не на уроке географии, так и так... Но я почему-то счастлив, что он не отправляется с нами. Пусть потом, сам, без нас, сам по себе. Я знаю, что он будет там незаменимым и доблестным, но пусть без меня, без меня...

Прошло более сорока с лишним лет. Срок, понимаешь! Ни одной фамилии не помню, кроме этих двух. Где все — не знаю. Живы ли, погибли ли? Никто не знал, кому что предназначено, да и сейчас никто не знает, почему одним повезло, а другим нет. Я хочу, чтобы все остались в живых, все, но больше всего чтобы тот, с красным носом, похожий отдаленно на моего отца, чтобы он вернулся к своим девочкам, черт бы его побрал!

Ноябрь, 1985

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, или Именительный падеж в творчестве Лермонтова

Это случилось очень давно.

Тогда я был молод, кудряв, легкомыслен и удачлив, и девочки, которым нынче за пятьдесят, кокетничали со мной напрапалую. Однако история, о которой я хочу рассказать, не имеет отношения ни к девочкам, ни к первой любви.

Наверное, как все в этом прекрасном возрасте, я совершал ошибки, и ошибок было много, но лишь теперь осмеливаюсь в них признаться, ибо пролетели годы и наступило время исповедей. Все встало на свои места, амбиция уже не та, с репутацией все утряслось. Теперь все обо мне самого хорошего мнения, да и о карьере, как говорится, поздно уже беспокоиться. Короче, как любил повторять один древний мудрец, все меня обожают, а с теми, которым я отвратителен, знакомств не поддерживаю. Теперь наконец пришло время вспомнить себя самого, оценить, покрыться холодным потом и воскликнуть: «Да я ли это был?! Я ли совершал все это?!» Когда я появился впервые в той сельской школе, все ахнули: на груди моей сверкал только что возникший в природе университетский значок!

Школа была маленькая, неказистая, в бывшей монастырской трапезной. Место было глухое, отделенное от крупных поселков. Время было трудное: года четыре, как закончилась война. Дипломированных учителей не хватало. Лишь у двоих были дипломы пединститутов, да и то периферийных, да и то заочных.

И вот в эту школу, в такую-то школу, приехал человек, окончивший столичный университет, фи-ло-лог!

Впрочем, необходимо знать кое-что еще, прежде чем говорить о главном.

Когда я вернулся с фронта и поступил в университет, меня приняли без экзаменов. Тихое восхищенное «ура» сопровождало меня по университетским коридорам. Улыбки и комплименты обволакивали меня и убаюкивали. Стоило мне, например, заявить, что Гоголь — великий русский писатель, как тотчас раздавались аплодисменты в мою честь. В воздухе висело устойчивое мнение, что если молодой человек воевал, значит он — почти уже филолог. На лекции я ходил редко: все было как-то некогда. Меня не наказывали. На всех торжественных

вечерах я выступал с воспоминаниями о том, как мы воевали, и это шло в зачет. И главная беда заключалась не в том, что люди, преисполненные радости победы, были чрезмерно снисходительны к одному маленькому представителю победившей армии, а в том, что все это я принял на свой личный счет. А как принял, так оно и пошло... Кое-как доучился, кое-как написал дипломную работу: что-то там такое насчет Маяковского, на сорок страниц, натянул, отделался общими фразами. Передавая работу своему руководителю, имел наглость пошутить: боюсь, что со знаками препинания у меня не все в порядке... Говоря о моей работе, он сказал, что работа превосходная, только со знаками препинания не все в порядке. Я понял, что он ее не читал. Меня хвалили, поздравляли, что вот, мол, несмотря на бывшее ранение, все же написал, поработал, использовал множество литературы (библиографический список я катал из энциклопедии). Наконец с дипломом филолога в кармане и с университетским значком на груди, полный, как это говорится, всяческих радужных надежд, выехал я в небольшой областной город. И оказалось, на мою беду, что в этой области я первый человек с университетским образованием. На меня смотрели с интересом и даже с благоговением.

Вот какой человек приехал в область!

Он был молод, кудряв, по тем временам хорошо одет. Он был не то чтобы красив, но симпатичен, и два больших счастливых столичных крыла виднелись за его спиной.

Заведующий облоно пригласил своего зама, и они вместе принялись обсуждать судьбу замечательного гостя. Гость предполагал, что ему поручат по меньшей мере заведование кафедрой в маленьком пединституте этого захудалого городка. Но об этом не было ни слова. Он ждал, что ему предложат быть хотя бы директором самой показательной школы города, но и этого не произошло. Вместо всего этого заведующий облоно сказал, что самое замечательное, если уважаемый филолог отправится в далекую сельскую школу и поработает там учителем, неся свет в массы и приобщая местных учителей к большой университетской науке.

Тут я возмутился и заявил, что лишь в городе мое место, ибо мне... предстоит серьезная работа над диссертацией, наполовину уже сделанной, которая без городской библиотеки невозможна...

Должен вам сказать, что мысль о диссертации пришла мне в голову именно в этот трагический момент. Раньше я об этом почему-то не думал. Я посмотрел на моих собеседников с торжеством, но они не отказались от своего намерения. Да я, кричал я, готовил себя к научной работе, а не к учительствонанию! Вы понимаете, что вы мне предлагаете? Да мы, кричали они с благоговением, все понимаем! Мы ведь не в какую-нибудь обыкновенную школу вас направляем!..

Я: Да я ведь фи-ло-лог, а не учительшка какой-нибудь!

ОНИ: Мы гордимся вами! Все вами будут гордиться! Сдалась вам должность рядового учителя в нашем городишке!.. А там — простор.

Я: Но у меня диссертация на выходе!

ОНИ: Какая же тема вашей диссертации?

Я (не колеблясь): Именительный падеж в творчестве Лермонтова!

ОНИ: Чепуха! Там, где вы будете работать, есть темка для диссертации еще почище.

Я: Я не смогу закончить диссертацию в вашей глуши!

ОНИ: Зато там бывал Лев Толстой!..

Тут наступила тишина.

Я (вяло): Что ему там понадобилось?

ОНИ (торопливо): Там в женском монастыре жила его сестра Мария Николаевна. Он гостил у нее перед кончиной. Вы представляете, какой материал?.. Тайна ухода Толстого в ваших руках!

А что, подумал я, обессилев, можно и вправду об этом... или даже повесть... роман какой-нибудь... Да и этот именительный падеж — ерунда какая-то...

Короче говоря, часа через два все сладилось, особенно когда при мне заведующий облоно позвонил заведующему району и торжественно объявил, что к ним в район едет учитель с университетским образованием и его надлежит принять хорошо, как следует.

— Не забывайте, — сказал он, — первый в области учитель с университетским дипломом!

Я уселся в маленький переполненный автобусик, потрясся в нем часа три и прибыл в районный центр. Заведующий районо, не скрывая радостной улыбки, позвонил директору школы, расписывая меня самыми фантастическими красками. Затем он сам лично проводил меня до шоссе, усадил в кузов случайного попутного колхозного грузовика и пожал мне руку...

Я лежал на мешках с картошкой и думал о себе высокопарно: вот, мол, как все складывается — я единственный в области учитель с университетским... Как это удивительно звучит, что-то в этом есть, как это все замечательно; хорошо, что я поступил именно в университет, и теперь... хорошо, что я поступил на филологический, и теперь... теперь наберу материалов о Толстом, напишу роман, и тогда...

Я глядел на случайных, похожих на меня пассажиров и жалел их за то, что они не догадываются, кто возлежит на мешках рядом с ними.

И вот наконец прибыл я в ту самую школу.

Подумать только, учитель с университетским дипломом, фи-ло-лог!

Учителя встретили его дружелюбно, почтительно. Правда, их сначала несколько коробило, что он слишком уж откровенно все о себе выкладывал, не таился. Но потом привыкли. А он и не думал скрывать, что в учителя попал случайно. Учителем, говорит, конечно, благородно, но для этого нужно призвание, а я — филолог, у меня научный склад мышления, мне нужно диссертацию заканчивать... Да и попал я к вам по странной случайности, а может, даже по собственной глупости. Меня с толку сбил ваш областной заведующий. Сочилин или Сучилин — не помню... Тут учителя ахнули: как запросто этот о самом Сочилине говорит! Да как это так он к нему попал?.. А вот так и попал, говорит: открыл дверь, вошел, сел, подумаешь...

Ну надо же! Сочилин... бог. К районному заву попасть — событие, а тут к Сочилину взял и вошел! После Сочилина только и есть что министр просвещения, но это уже мираж, фантазия, а Сочилин свой, областной, недостижимый. Учителя его в два-три года раз видели, да и то мельком, да и то издалека, а этот, наш-то, взял и вошел!..

Но все это были лишь цветики, а ягодки маячили в отдалении. Еще не настал срок им созреть, но время — штука стремительная, упаси вас бог не зная этого, как я не знал когда-то.

Начались учебные дни. Учителя говорили мне с подобострастием: счастливы вы! Это ж надо, какие знания, наверное. У вас и методы, наверное, совсем другие... Конечно, говорил я, университет все-таки, а не что-нибудь. Готовили нас основательно... Вы и планы к урокам, говорили они, какие-нибудь особенные составляете, наверное... Да что вы, говорил я, снисходительно улыбаясь, какие планы?.. Зачем это?.. Как же без планов, ахали они, разве без них можно? Да ведь все перепутается... Чудаки, смеялся я, да неужели моих университетских знаний не хватает на какой-то там урок в каком-то девятом классе? Стоило ли университет кончать?.. Правда, были и такие учителя, которые восторгов мне не выражали, а тихонько говорили меж собой: подумаешь, университет, университет... Кичлив больно, носятся тут с ним, сами не знают чего...

И вот однажды (следите внимательно) подошел ко мне кто-то, сейчас уже и не вспомню кто, и предложил мне выступить с лекцией перед колхозниками. Я очень удивился, что ко мне подходят с такими пустяками, но тот просил так почтительно, что отказать было нельзя, тем более что лекция намечалась через месяц. Через месяц, сказал я, другое дело, а то сейчас я работаю над диссертацией, и времени у меня нет, а через месяц, пожалуйста, хотя ума не приложу, что бы такое им рассказать, поймут ли... Да вы, сказал тот, как-нибудь попроще, конечно. Слушать будут, не сомневайтесь. У нас тут кино редко бывает, так что слушать будут, не сомневайтесь.

Маленький затор произошел при выборе темы лекции (оказывается, ее нужно было определить именно сейчас). Черт ее знает, о чем читать, да и не читал я никогда никаких лекций. Но лицо мое было многозначительно, и глядел я прищурившись в законные дали, и пальцы мои теребили подбородок...

А надо сказать, что перед отъездом в область кто-то подарил мне только что вышедшую книгу «Пушкин в воспоминаниях современников». Я ее иногда почитывал. Там были любопытные истории из жизни Пушкина. Там, например, рассказывалось, как юный Пушкин однажды где-то там в кого-то там влюбился и, когда им пренебрегли, в бешенстве пробежал под палящим солнцем длинный путь, как потом оказалось — верст четырнадцать, что ли! И еще там были всякие занимательные истории из жизни поэта. И вот, вспомнив об этой книге, я сказал, что буду читать, пожалуй, лекцию о Пушкине, о его жизни, и называться лекция будет: «Частная жизнь Александра Пушкина».

На том и расстались.

Шло время. Начались дожди. Потом дожди перемешались со снегом. Потом выпал снег и уже больше не растаял. Иногда на глаза мне попадалась эта проклятая книга

«Пушкин в воспоминаниях современников», и тусклое, едва уловимое желание перелистать ее страницы овладевало мной, но лишь на одно мгновение. Наконец в один прекрасный день рука моей фортуны почтительно, как мне показалось, постучала в мою дверь, и я не смог уловить в том стуке дружеского предостережения.

Был ясный солнечный морозный день, вернее — исходня. Солнце клонилось за пригорок, за тот самый, куда мне предстояло ехать, чтобы нести свет в массы. У крыльца стояли колхозные сани. Заиндевшая лошадка перебирала ногами. Возница был бородат и приветлив. Настроение у меня было превосходное. Я казался себе счастливым гусаром. Не было ни страха, ни даже волнения. В извечном поединке меж «слыть» и «быть» верх одерживало первое. О мой дорогой университетский значок, соединение белого, синего и золотого! Как я любим и почитаем!

Лошадка бежала резво. Страх не было. Замечательная книга покоилась на моих коленях, тяжеленькая, плотненькая такая — источник вдохновения молодого ученого, кладовая успеха, славы... Страх не было.

В большой старой бревенчатой избе размещался колхозный клуб. После шестикилометрового морозного пути было приятно войти в тепло и ощутить на себе почтительные взоры. Страх не было. На лавках сидели мои слушатели. Были старики и дети. Было много молодых людей. Некоторые сидели парами. На нехитрой сцене стоял длинный стол, покрытый красной выцветшей материей. Сияли керосиновые лампы. Справа от стола возвышалось подобие кафедры. Все как полагается. За столом в одиночестве сидел председатель колхоза. О мой дорогой университетский... Страх не было.

— Ну вот, — сказал председатель, когда я легко взлетел на подмости, — сейчас наш дорогой учитель расскажет нам о частной жизни Александра Сергеевича Пушкина. Послушаем внимательно. — И, оборотившись ко мне: — Часика в полтора уложите?

— Кто его знает, — улыбнулся я, — во всяком случае, буду стараться.

— Да нет, — сказал он, — время у нас есть: сколько нужно, столько и рассказывайте, это я так...

— Ну, может, с полчаса лишнего прихвачу, — пошутил я. — Не взыщите...

Все заулыбались. Контакт был.

Я встал за кафедру. С одной стороны положил перед собой свои часы, с другой стороны — замечательную книгу с завораживающим заглавием «Пушкин в воспоминаниях современников». Страх не было.

— Пушкин — великий русский поэт! — воскликнул я легко, вдохновенно и страстно.

Все со мной были согласны. Глядели на меня, не отводя глаз, как с семейной фотографии. О мой дорогой универ...

«Отчего это я трясусь?» — подумал я.

Я с ужасом даже сейчас вспоминаю эту минуту: страх охватил меня, страх, которого я не испытывал даже на фронте: о чем говорить дальше? Как увязать то, что следует увязать? Если бы передо мной лежал хотя бы маленький, ничтожный клочок измятой линованной бумаги и

если бы на нем пусть вкривь и вкось, нелепым почерком, неразборчиво было бы написано, набросано, едва угадывалось бы то, что я вычитал когда-то из этой проклятой книги! Но передо мной была наклонная потертая доска замечательной кафедры и на ней лежала молчаливая книга, тяжелая, словно камень на шее. Я посмотрел на часы — прошло полторы минуты... Теряя сознание, я вспомнил самого лучшего нашего университетского профессора. Как легко он читал свои лекции! Как свободно держался! Его эрудиции хватило бы на десятерых лекторов. Он не замечал аудитории, слова лились как стихи.

Я снова посмотрел на часы — прошло полторы минуты.

— Однажды, — сказал я, крепко держась рукой за кафедру, — молодой Пушкин... где-то на юге влюбился... кажется, в цыганку... Она была к нему равнодушна, и он, разозлившись, пробежал по жаре двадцать четыре километра... — слушали меня внимательно, — не метра, а километра...

Стояла тишина. Я вспомнил другого преподавателя университета. Читая лекции, он вальяжно прогуливался перед нами. Иногда даже казалось, что в руке у него — трость, а в петличке — хризантема.

— Двадцать четыре километра! — выкрикнул я. — Представляете?..

Собравшиеся молчали. Я посмотрел на часы — прошло две минуты. Кто-то робко кашлянул... О, если бы он раскашлялся как следует и надолго! Бывает же такая форма кашля, когда все тело сотрясается, лицо багровеет и грохот стоит необычайный. Или, например, начал бы переговариваться с соседом, сказал бы, например, громко: «Вась, а Вась, чего это он там? Пошли домой...» Тут бы я сказал с насмешкой: «Конечно, слушать о Пушкине — пустая трата времени, лучше завалиться на печь...» Или что-нибудь в этом роде. Но в клубе стояла тишина... А ведь мог здесь оказаться кто-нибудь и выпивший. Взял бы и запел... Тут бы я развел руками и сказал председателю: «Ну, знаете, в такой обстановке не лекцию о великом поэте читать, а молотилку крутить. Я шесть километров ехал сюда по морозу! Вы думаете, это мне нужно? От диссертации время оторвал...» И быстро-быстро сошел бы со сцены — и в двери!

Но в клубе стояла тишина.

— Или, например, такой случай, — сказал я не своим голосом... «Какой случай? Какой случай?» — загудело в голове. Проклятая замечательная книга лежала передо мной, и мои бледные трясущиеся пальцы впились в нее с последней надеждой. Как мог я, идиот, позабыть о ней! Сейчас я загляну в нее, посмотрю туда, быстренько перелистаю, найду... «Какой случай? Какой случай?..» — Или, например, такой случай, — медленно повторил я. — Хорошо известно... — «Что хорошо известно? Что известно?..» Внезапно я наткнулся на имя Натальи Гончаровой. Вспыхнул ослепительный свет. — Пушкин был женат на Наталье Гончаровой! — воскликнул я. — Она была красавица. Перед самой женитьбой он встретился с цыганкой Таней... нет, Стешей... И тут они... — «Что они? Что они?..»

Я посмотрел на часы — прошло четыре минуты.

— Что-то с моими часами, — сказал я председателю.

Он торопливо снял свои и подал их мне. Я положил их рядом со своими. И те, и другие показывали одинаковое время. «Спокойно, — сказал я сам себе. — Сейчас нужно рассказывать, прохаживаясь по сцене», — но рук от кафедры оторвать не смог.

— Одну минуточку, — сказал я, — тут из книжки выпала закладка, и потому... вот сейчас... значит, так... Это замечательная книга... значит, так... таким образом...

Страницы перелистывались сами, в каком-то им одним известном порядке: Данзас, Вяземский, осень в Болдине, царь... Царь!

— Ага, — сказал я с облегчением. — Вы, конечно, все знаете, что царь Пушкина не любил... Но вы, наверное, не знаете, наверное, не знаете... — «Чего не знаете? Чего не знаете?..» — Он сослал его в село Михайловское... нет, сначала он сослал его в Одессу, где губернатором был граф Воронцов. Воронцов Пушкина не любил и послал его на саранчу... Когда саранча собирается в большом количестве... когда саранча собирается в большом количестве...

Я попытался незаметно отвинтить университетский значок, но не смог, хотел перевернуть страницу книги, но книга не открывалась вообще. Я посмотрел на свои часы — прошло семь минут. На часах председателя было то же самое.

«Нужно было составить план, — осенило меня в этом безумии, — и к каждому пункту плана подыскать примеры. Я бы читал и читал без остановки. Подошел бы ко мне председатель, чтобы напомнить, что время вышло, а из зала крикнули бы: «Пусть читает!»

Я посмотрел на председателя. Он был задумчив, и все остальные тоже. Может быть, они думали в этот момент о графе Воронцове, а может быть, о Наталье. Наверное, никто не думал обо мне, никто не подозревал, как я мечтал, чтобы пол под моими ногами разверзся, чтобы пламя охватило бревенчатый клуб, чтобы кто-нибудь крикнул: «Волки!» — и все бросились бы к окнам, а я сказал бы: «Ну, знаете, в такой обстановке...»

— Может быть, будут какие-нибудь вопросы? — спросил я у председателя как мог спокойно.

— Вы уже закончили? — спросил он без тени удивления.

— Да, пожалуй, и все, — сказал я, не слыша собственного голоса.

Тогда председатель встал и спросил:

— Какие будут вопросы? Но вопросов не было.

«Хоть бы они бросились на сцену и убили меня!» — подумал я.

— Ну что ж, — сказал председатель, — раз нет вопросов, давайте его уьем!..

Впрочем, это я так подумал, а он сказал:

— Ну что же, если нет вопросов, давайте поблагодарим товарища учителя, — и зааплодировал. Его вяло поддержали. А этот молодой, кудрявый, удачливый, с новехоньким университетским значком на груди оглядел зал торопливо, по-заячьи, и его молодые губы дрожали, и пальцы не слушались.

Как он очутился на улице, никто не успел заметить. Шестикилометровый обратный путь лежал через овраги и перелески. Было темно. Вьюжило. И он представил, как, окровавленный, подползает к клубу... Он шел медленно, его покачивало. Внезапно послышался скрип полозьев, и те самые колхозные сани догнали меня.

— Велено домой доставить, — весело сказал бородатый возница, — садись, учитель. Больно ты на ногу скор...

Я уселся в сани и заплакал.

...С тех пор прошло много лет. Тогда я был молод, кудряв и удачлив, и, отвинтив, я бросил в снег свое ромбовидное несчастье, синее, белое и золотое. Быть может, лет через сто ученые его обнаружат и будут долго гадать о судьбе владельца...

Март, 1976

ОТДЕЛЬНЫЕ НЕУДАЧИ СРЕДИ СПЛОШНЫХ УДАЧ

Посвящаю Петру Тодоровскому

Это случилось давно. Я был очень молод. Из сельской школы меня перевели в городскую. И тут жизнь моя внезапно покатила под откос, и я вот-вот должен был погибнуть, но необъяснимое чудо помогло мне спастись.

Я снимал угол в домике на окраине. Стояла гнилая осень. Ученикам я не нравился, и они отравляли мое существование. Друзей еще не было. Жить не хотелось. И вот однажды подошел ко мне в учительской преподаватель физкультуры Петя и сказал:

— Я гляжу, ты все один да один. Может, вечером под шары сходим? Ну, ресторанчик такой, под шарами...

И мы отправились. Я, Петя и завуч. Это была не очень чистая столовая рядом со школой. Над входом висели два тусклых круглых матовых шара. Мы нашли себе столик. Нам, не спрашивая, подали по граненому стакану с водкой, по кружке пива и по порции котлет с лапшой. Выпили — разговорились. Помню, было хорошо, легко, сердечно. Вывалились оттуда в полночь, обнялись и зашагали по пустынным улицам: провожали друг друга. Что-то такое пели громко, хором. Расставаться не хотелось.

Следующее утро было опять гнилым, гадким. Ученики не жаловались. Но я понимал, что спасение вечером, под шарами. «Под шары идем?» — спросил я Петю. Его обрадовала моя прыть. Правда, с деньгами вышла легкая неувязка, но меня научили обратиться в кассу взаимопомощи и попросить денег на приобретение, ну, скажем, ботинок... И вот снова были граненые стаканы, пиво, котлеты, и снова мы шли в обнимку, пели, а в промежутках делились опытом...

Утром я подумал: «Вечером — под шары. Какое счастье!..» И так продолжалось несколько месяцев, пока не произошло необъяснимое чудо. И я вернулся к себе самому.

Спустя несколько лет переехал я в Москву и, представьте себе, попал почти в ту же ситуацию. С одной стороны, столица, блеск, всякие вождедения, с другой — гнилая осень, одиночество, ни насиженного места, ни знакомых лиц; а мечталось о дружеском участии, о милых встречах... Женщины проходили мимо, да и не умел я привлекать их внимания, да и одет был крайне невзрачно. И вот решил я, как всякий молодой человек, хорошо одеться.

Однако хорошо одеться в то трудное время было сложно: в магазинах продавались вещи невыразительные, скучные, а мечталось о необычном, а необычное можно было достать лишь в комиссионном магазине, да и то изредка, и стоило оно немалых денег. Начал я копить, добавили родственники, и вот двери комиссионного магазина распахнулись передо мной. Я вошел туда в надежде натолкнуться на неповторимое произведение искусства кройки и шитья. Мне повезло. Я сразу увидел пальто из замечательного драпа цвета переспелой моркови. Примерил — оно было сшито на меня. Оно было теплое, мягкое, облегающее, на блестящей скользкой подкладке. Она была столь прекрасна, что хотелось вывернуть пальто и носить его подкладкой вверх. Пальто было с чужого плеча, но это меня не волновало. Главное, что своим видом, цветом оно соответствовало тогдашнему моему вкусу. Конечно, вкусы меняются. Природа и возраст делают свое дело. В тринадцать лет, например, я воображал себя в черных брюках, в белой сорочке апаш и с фотоаппаратом «лейка» через плечо. А в пятнадцать мне уже хотелось выглядеть похожим на Костю Червонца с нашего арбатского двора: тельняшка, пиджачок, чубчик из-под кепочки, и обязательно хромовые сапоги гармошкой, и обязательно золотой зуб...

Короче, заглянул я в зеркало. Передо мной стоял уже не прежний сутулящийся от холода человек в потертом полуплаще, а статный независимый молодой мужчина со счастливым румянцем на щеках. В довершение всего пальто стоило дешевле, чем предполагалось, и этот внезапный красавец позволил себе купить шляпу из коричневого велюра, и еще осталось на такси, в котором он отправился к себе на работу.

В те годы я трудился в одном из столичных издательств, которого не называю, ибо, как подсказывал опыт, некоторые люди воспринимают мои нынешние откровения как удар по собственному престижу. Им кажется, что моя откровенность порочит не только меня, но и их, а у меня нет желания травмировать бывших моих сослуживцев.

Итак, приехал я к себе в издательство, вошел в комнату и по взглядам присутствующих понял, что я уже не тот, что был, — иной, иной...

Мой сослуживец, назовем его Виталием, сказал:

— Ба, а ты ничего себе! — И глаза у него повлажнели. — Послушай, а почему бы нам вечером не выйти на Тверскую?

— И с какой целью? — спросил я рассеянно, но на самом-то деле весь напрягся, напряжился...

— Познакомимся с какой-нибудь достойной красоткой, — сказал Виталий, — проведем время...

Я тут же представил себе эту красотку. У нее были длинные ноги. Светлые волосы струились по плечу. Правильное лицо украшали глубокие серые глаза. Улыбалась она ослепительно. Говорила низким голосом, слегка нараспев. Заканчивала аспирантуру по астрофизике...

— А ты уверен, — сказал я, — что достойные красотки ходят по Тверской, ожидая нас? — Но глухая надежда шевельнулась в моей израненной душе.

Вообще мне страшно было подумать подойти к незнакомой женщине на улице, но Виталий многозначительно улыбался.

Мы встретились у метро «Белорусская». Стояла промозглая осень. Под фонарем на сыром асфальте распласталась моя нервная, элегантная тень. Я решил не продавать себя дешево.

— Послушай, — сказал я, как человек, утомленный опытом, — только, пожалуйста, без всяких пошлостей, хватаний за руку и жалкой лжи...

Он посмотрел на меня многозначительно и ничего не ответил.

До площади Маяковского мы не встретили ничего примечательного. Напряжение мое усиливалось. Где вы, длинноногие мадонны, сочетающие в себе современную красоту, ум Сократа, нравственные богатства и старомодную женственность наших бабушек? Где же вы?

И тут Виталий резко шагнул в сторону.

— Вы одна, и это ужасно, — проворковал он. Перед нами стояла девушка. У нее было озябшее невыразительное лицо.

— Что-то есть в нашей встрече, — сказал Виталий с профессиональной настойчивостью. — Ведь мы встретились не на балу, а в промозглой осенней полутьме. Какая-то сила свела нас...

— И что же? — спросила она не очень дружелюбно.

— Пойдемте с нами в уют, в тепло, в музыку, в дружескую пещеру... Люди должны быть ближе друг к другу. Познакомьтесь, это мой приятель.

Она отвела мою руку и исчезла.

Я совсем забыл сказать, что нас ждала однокомнатная квартирка Виталия, где была бутылка коньяку, яблоки, торшер, диван и проигрыватель.

Мы пересекли площадь Маяковского. Мимо, дразня нас, проплыла мадонна, недоступная, как звезда. Ее сопровождал некто счастливый и благополучный, хотя, как я успел заметить, он был не так уж и прекрасен.

Затем перед нами возникли две довольно симпатичные красотки.

— Привет, — сказал им Виталий. — Кого я вижу!

Но они прошли мимо.

Однако время не стояло на месте, и площадь Пушкина мы пересекли уже значительно торопливее.

— Кстати, — сказал Виталий, — тебе надо поддерживать меня в разговоре. Ты молчишь, а они начинают бояться. Они думают: кто этот молчаливый красавец? К добру ли он? — И тихо засмеялся.

«Конечно, — подумал я, — это очень унижительно, но ведь где-то кто-то нас ждет? Ведь не может быть, чтобы все были окончательно разбиты на пары!»

— А я где-то читал, — сказал я, — что вообще женщин больше, чем мужчин.

— На земном шаре — да, — засмеялся Виталий, — но не на Тверской.

Мы двигались уже быстрым шагом. Внезапно он коснулся моего локтя:

— А вон идут наши...

Я вздрогнул. Две юные дамы, смеясь о чем-то своем, медленно приближались к нам. Чарующий свет магазинной витрины придавал их облику загадочность и полночную прелесть. Они представляли собой ту классическую пару, которую любили изображать художники на страницах журнала «Нива». Обе высокие, стройные. Блондинка и брюнетка. Юдифь и Брунгильда, сведенные вместе прихотью фортуны.

— А мы вас ждали, — проворковал Виталий, и глаза его наполнились медом.

Красотки остановились, переглянулись и засмеялись, однако вполне дружелюбно. «Наши! Наши!» — ликовал я.

— Знакомьтесь, — сказал Виталий, — мой приятель.

Он широко взмахнул рукой, заключая меня в некий фантастический овал, давая им понять, с кем они имеют дело. Его великодушие не имело границ. Он умял себя, чтобы мои достоинства проявились с полной силой: «Что я... Я — ничто. Посмотрите на него: как он стоит! Какое на нем пальто! Как благородны его черты!.. Какая шляпа!.. Какая тайна во всем его облике!..»

— Знакомьтесь, не пожалеете, — сказал он, — это удивительная личность. — В его бодром ворковании все-таки различалось отчаяние.

— Очень сожалею, — сказала брюнетка, — но ваш приятель не в моем вкусе.

Слова брюнетки не произвели на меня впечатления, потому что мне нравилась Брунгильда. Мне вообще всегда нравились блондинки. Видимо, потому, что я сам брюнет. Правда, эта ортодоксальность несколько раз выходила мне боком.

Конечно, тут я должен был что-то ответить, сказать что-нибудь такое... Но слов не было, и, чем больше я напрягался, тем меньше их оставалось в несчастной моей голове.

— Ну, протяни дамам руку, ручку протяни, — сказал Виталий с улыбкой, но мне послышалось в его голосе легкое раздражение.

Не сводя глаз с блондинки, улыбаясь с ученым видом знатока, я протянул к ней ладонь.

— Нет, — вздохнула она, — вы оба не в нашем вкусе...

И они растворились во мраке, а мы обреченно и сосредоточенно помчались по направлению к Юрию Долгорукому.

Тусклые фонари. Изморозь. Легкая дымка грядущей зимы. Неправдоподобный свет витрин. Все казалось призрачным, фантастическим. И наши напряженные, унылые, издерганные тени стремительно пересекали замирающую Москву. Я сдвинул шляпу на затылок, чтобы выглядеть лихо: женщины любят силу, задор, стремительность...

Очередная жертва была благосклоннее прочих; так легко и просто выдала свое имя и, шмыгая острым длинноватым носиком, призналась, что все это ей как-то непривычно, но она рада познакомиться с такими интересными ребятами и будет ждать, когда они ей позвонят... Сегодня? Нет, она идет на дежурство... Завтра бы, а? Она будет сидеть у телефона, и подруга у нее есть...

Я хотел сказать ей, что она не в нашем вкусе, но мне ее стало жалко.

— А знаете что, — сказала она суетливо, — дойдем до почты, я, может, и отпрошусь, а? Мы пообещали позвонить ей и полетели дальше.

— На таких-то уж не будем размениваться! — крикнул я.

— Да мне, собственно, все равно, — откликнулся Виталий и нервно захохотал: — Стоило ли... Я думаю, стоило ли новое пальто. А ведь еще и шляпа! Велюр!..

Вечер пропадал. Уже виднелась Манежная площадь. Правда, женщин как будто прибавилось. Это утешало. Особенно много их было почему-то на той стороне улицы. Даже отсюда было видно, как они стройны, медлительны, прекрасны.

— Переходим! — распорядился мой друг. Мы почти перепрыгнули на противоположный тротуар, но он был пустынен, ничто не привлекало взора.

— Зря упустили ту, — прохрипел Виталий, — не так уж и страшна...

Все красотки теперь медленно двигались по той стороне.

— Давай туда, — скомандовал Виталий.

Я перелетел на другую сторону и вновь оказался в пустоте. Зато там, где оставался Виталий, возобновилось шествие. «Ага! — подумал я с торжеством, — наша берет!» Громадными скачками, не касаясь земли, Виталий носился меж телеграфом и Ермоловским театром.

«Как это унижительно, — подумал я. — Что мы делаем?! — А сам носился тоже, придерживая рукой шляпу. — Как стыдно!» — но остановиться не мог.

Так мы добрались до станции метро. Дальше простиралась бесконечность.

— К черту, — сказал я, задыхаясь, — хватит. Идем по домам. Твой профессионализм ни к черту...

— Моя профессия — редактирование рукописей, — шепнул он мрачно.

Пустынный эскалатор уносил нас в преисподнюю. Пальто мое переменяло цвет. Исчезли мягкие тона. Оно выглядело крикливо, капризно, истерично, ядовито... Оно стало жестче, фанернее, трудно было пошевелиться...

Едва дыша от усталости и разочарования, мы ввалились в полупустой вагон, и в этом полупустом, полусонном вагоне как вознаграждение за недавнее отчаяние сама фортуна предстала перед нами в образе длинноногой юной мадонны, весьма изящной и слегка небрежной, с загадкой в больших серых глазах и с ослепительной располагающей улыбкой... В общем, едва мы ввалились в вагон, как тотчас налетели на нее.

— Привет, — сказала она. — Бедные мальчики, какой обалдевший вид!

— А у вас, надеюсь, вечерок прошел славно? — проворковал Виталий.

— У меня он только начинается, — ослепила она.

Возле ее ног стоял большой, распухший портфель. Мы тут же познакомились. Я не сводил с нее глаз. Это была королева.

— Послушай, Виталий, — сказала она, — поддержи-ка зеркальце, вот так, — и принялась орудовать губной помадой. — Знаешь, — сказала она мне, — один тип ждет меня уже больше часа. Представляешь?.. Я проковырялась дома кошмарное время!

— Кто он? — спросил я, холодея.

— Такой же дурачок вроде вас... Это потрясающе!

— Может, плюнем на него? — предложил Виталий.

— Это дурно, — сказала она, — можно быть легкомысленной, но непорядочной никогда.

— Да он же тебе надоел, — сказал Виталий.

— Это правда, — согласилась она. — А что делать?

— А вот мы, например, — сказал Виталий. Опять торговля, позор, вымогательство!.. Ладно, пусть и она укажет нам наше место... Ее звали Зиной.

— Зин, а Зин, — сказал Виталий, — да не ломай ты голову. Ну, позвонишь ему завтра, и все такое... Вдруг она засияла:

— Вот дурачки!.. Тогда давайте быстренько позвоним Наташке и поедем ко мне на дачу. Виталик, Наташка тебе понравится.

Она выбрала! Какое счастье! Значит, Виталию — Наташка, а мне — она! И тут она хлопнула меня по плечу:

— Ну, что скажешь, горюшко мое?

— Фантастика! — сказал я, потрясенный. — А знаешь, мы тут облазили всю Тверскую, и все безуспешно, и вдруг — ты!

— Ну надо же! — удивилась она. — У вас что, знакомых девчонок нет?

— Почему же нет? — проворковал Виталий. — Одна свалилась в гриппе, другая в отъезде, третья... надоела... Ну, знаешь, как бывает...

Она была прекрасна в мягком свитере вишневого цвета, в пальто нараспашку... Я тоже распахнулся.

— А Наташка, — спросил Виталий, — она как? Она ничего себе?

— Царица, — сказала Зина, — умрешь.

Вообще был огонь, фейерверк, молния, внезапность, чудо. Все сладилось. Эскалатор выносил нас слишком медленно. Я, надрываясь, нес тяжелый портфель моей дамы.

— Никаких однокомнатных пещер, — командовала Зина, — у нас с бабушкой целая дача. Да вы что, смеетесь?.. Бабку запрем в ее комнате...

Мы вышли у Курского вокзала. Виталия она послала в дежурный гастроном.

— Беги, Виталик, беги, пока не закрыли! И забудь про свою бутылку с коньяком. Вы что, опсихели? Четыре нормальных человека и одна бутылка?! И потом, учти, у меня еды мало, сыру не забудь, колбаски... Беги, беги!

— Слава богу, — сказал я, распоясываясь, — мы остались наедине. Так и ждать приятнее...

— Чудовище, — сказала она, — это ты будешь ждать, а я побегу звонить Наташке.

— И все-таки хорошо, что не мне бежать в гастроном, — сказал я.

— Ах ты, маленький лентяйчик! — засмеялась она. — А ну-ка донеси мой портфель во-о-он до той телефонной будки.

Я радостно подхватил портфель, и мы отправились.

— Теперь, — сказала она, высовываясь из кабинки, — лети, шалунишка, на прежнее место, а то Виталий нас потеряет, — и помахала мне ручкой.

Она звонила долго. С полчаса. Пришел Виталий, нагруженный бутылками и пакетами.

— Ты не сердись, что она выбрала меня? — спросил я.

— Я не очень привередливый, — засмеялся он. — Наташка так Наташка.

Прошло еще полчаса. Минули вообще все возможные сроки. Вспоминались различные истории о том, как юные красотки завлекали к себе мужчин, напаивали их, потом вваливались их дружки...

— Это отпадает, — сказал Виталий, — нас ведь никуда не завели. В общем, нормальное «Динамо»...

— А ты уверен, что она из «Динамо»? — спросил я. Он засмеялся и потащил меня к закрывающемуся метро.

— Нам крутанули «Динамо», — пояснил он. — Динамистки пьют, едят на твои деньги, а после ни-ни...

— Это отпадает, — сказал я твердо. — Она была бескорытна.

На следующее утро, переполненный раскаяниями и гневом на собственную слабость, я отправился в издательство.

Виталий уже сидел за своим столом, свежесбривший, улыбчивый, благоухающий.

— Хочу тебя обрадовать, — сказал он как ни в чем не бывало, — не успел вчера ввалиться в дом, как позвонила одна дама, зовут Тамара, спросила Люсю...

— И что же?

— Познакомились, договорились на сегодня.

— С меня хватит, — сказал я, усаживаясь за стол.

— А она обещала привести Люсю, — проворковал Виталий.

Я открыл чью-то рукопись, но вместо букв увидел Люсю.

— Нет уж, — сказал, — Люси, Маруси... К черту. Иди к черту.

У Люси были длинные ноги, вишневый свитер обтягивал ее прелестную фигурку, серые глаза смеялись. Она с успехом училась на археолога, но это не мешало ей заниматься парусным спортом и любить Верлена. У нее был иронический склад ума, а когда я попросил пришить мне к пиджаку пуговицу, она и это сделала легко и с изяществом.

— Ну как? — спросил Виталий.

— К черту, — я был тверд. — Мадонны на улице не валяются.

Весь вечер в душе моей бушевали бури. Я освистывал себя и унижал. Я вспоминал о себе самое дурное. Кстати, и ту историю в провинции, под шарами. «Неужели, — думал я, — этого мало? Неужели я не гожусь для лучшего?!»

Позвонил Виталий и сказал:

— Значит, так, тут ко мне неожиданно нагрянули родственники, поэтому сгоняй за девочками сам, заезжайте за мной, а я тут пока управлюсь, и мы дунем куда-нибудь в ресторан...

— Ладно, хорошо, — почти крикнул я торопливо, — только у меня с деньгами...

— Деньги есть, — сказал он, — все в порядке.

Я сорвал с вешалки свое новое пальто. Оно было оранжевого цвета с легким голубым отливом; надел шляпу, глянул в зеркало и подумал: «Чего им еще нужно?»

Возле станции метро «Смоленская» бушевали страсти. Здесь было место свиданий. Здесь ждали, встречали, отчаивались и возносились. На душе у меня было мерзко, но, подчиняясь неведомой силе, я, словно орел-стервятник, кружил и кружил в счастливой толпе. Через несколько минут я уже хорошо ориентировался в этой суматохе, я сжился с обществом и понял, что это не безумная стихия, а разумное логическое движение природы. Уходили одни, появлялись другие. Самые красивые ждали недолго: их кавалеры не опаздывали; те, что похуже, были терпеливей, но и их не обходила удача. У меня было сложное положение: я не знал ни Люси, ни Тамары. Я спрашивал почти всех подряд, но все оказывались чужими. «Очень хорошо, — подумал я, — очередной розыгрыш. Зато я могу уйти к черту!» Конечно, можно было бы встать на ступеньки и крикнуть оттуда: «Люся, Тамара, ау!..» Но меня бы подняли на смех, потому что представьте себе: это пальто, эта шляпа, эти уски — и ау-у!..

Наконец все разбилось на пары и перед станцией метро остались двое; я и какая-то приземистая девица в мешковатом пальто и берете. Мы долго и недружелюбно оглядывали друг друга. Я подошел к ней. Это была Тамара. «Если Тамара такая, то какая же Люся?» — подумал я и решил плюнуть на все и исчезнуть, но почему-то не смог. Вскоре к нам присоединилась и Люся — маленькая толстушка с русой челкой.

— Ну ладно, — сказала Тамара мрачно, — поехали за Виталием. Вот такси.

Честно говоря, я предполагал добраться до Виталия на метро, но спорить не решился. Мы доехали до Калужской заставы. Девочки остались в машине. В лифте я решил, что сейчас самое время задать деру, но не смог. Виталий лежал на диване совершенно пьяный. Гостей уже не было. Какая-то старуха подтолкнула меня к двери:

— Давай, давай отседова!

— Виталий! — крикнул я.

— Ку-ку, — сказал он, не открывая глаз.

— Мы приехали, — крикнул я, — у меня нет денег..

— Ку-ку, — сказал Виталий, а я очутился за дверью. Выходя из подъезда, я подумал, что теперь-то самое время убежать, но пошел к машине.

— В ресторане и без Виталия хорошо, — сказала Тамара. — Давай, шеф, в гостиницу «Ленинградская», там ресторан что надо.

Денег у меня какая-то жалкая мелочь, едва на такси. Тамара мрачно молчит: чем-то я ей отвратителен. Люся вздыхает и иногда произносит отдельные слова вроде: «А вот коммиссионка...», или «А здесь Санька живет...», или «Гляньте, дура какая, по лужам бежит!..»

— Боюсь, что мест в ресторане, как всегда, не будет, — сказал я.

— А ты не бойся, — сказала Тамара, — швейцару дашь — и будет.

«Надо бежать, — подумал я, утирая холодный пот, — то есть даже не бежать, а выйти из машины и спокойно уйти... Гуляйте сами...»

Молодая женщина сидела в машине рядом. В полутьме она казалась прекрасной. Надо ведь что-то сказать ей полупшепотом, взять за руку, чтобы она оттаяла. У нее тоже трудное положение: кто я, зачем?.. Я прикоснулся к руке Тамары, она ее отвела. Такси остановилось у ресторана. Толпы не было. С неба сыпалась какая-то гадость. Я расплатился почти всем, что у меня было. Осталась ерунда на бутылку самого дешевого сухого. Хоть бы нас не впустили!

Громадный мраморный зал ресторана был почти пуст. Играл оркестр. Метрдотель очень любезно завел нас в отдельную кабину. Я утирал пот. И тут же перед нами возник молодой официант.

— Так, — сказал я лениво и по-хозяйски, — я думаю, что нам хватит бутылочки сухого вина и немного яблок, что ли... Будем танцевать.

Он хотел было идти, но Тамара его остановила.

— Погоди, шеф, погоди, — сказала она, и ее пальчик с облезающим маникюром забегал по меню, — давай так... неси семгу, колбаски вот этой... Помидорчики есть? Давай тоже, сыру давай тоже. Это на закуску... Да, еще салатик захвати...

— Что-то ты размахнулась, — засмеялся я.

— А что ж, голодными сидеть? — сказала Люся.

— Теперь, — сказала Тамара, не обращая на меня внимания, — давай так: водочки графинчик похолодней, ну, сам знаешь, ситро... Теперь горячего... горячего... давай котлеты по-киевски...

— Кофе? — спросил официант бесстрастно.

— Ну да, — сказала Люся, — и мороженого.

Он ушел. Мы сидели молча. Люся выглянула за занавеску.

— Танцуют, — сказала она, — одна пара. Танцевать не умеют, а тоже... А юбку какую надела, умора... Погляди, Тамар.

— Да ладно, — сказала Тамара.

— Ну и Виталий, — сказал я, чтобы поддержать разговор, — хорош.

— Да ладно, — сказала Тамара, — Виталий, Виталий... Сидишь и сиди.

«Что же делать!» — подумал я, но тут появился официант, и наш стол затрещал. Он, мерзавец, не забыл принести и мою бутылку сухого, и яблоки, и еще по собственному почину вазу с дорогими конфетами и сказал, обращаясь, конечно, к Тамаре:

— Думаю, не помешает. Для общей красоты.

— Сойдет, — сказала Тамара.

Я разлил водку, и мы выпили. И тут же по второй. Я посмотрел на себя со стороны: ничтожество. А в девчонках что-то было: во-первых, бесцеремонность — они прямодушны и бесхитростны, современные; во-вторых, и внешне... такие вострушечки. У Тамары маленькие острые зубки, маленькие острые глазки, тонкие губы — характер; а Люся вообще прелесть — раскраснелась, хохочет, уплетает за обе щеки...

Мы выпили еще. Музыка гремела замечательно. Ах, будь что будет!..

— Пошли танцевать, — распорядилась Тамара, и мы затоптались перед оркестром.

Танцевала она очень обстоятельно, сосредоточенно, по-деловому, словно выбирала блюда в меню. Я попробовал прижаться к ней, но она сказала:

— Не взнуздал, а поехал?

В то же время, когда один из танцующих кивнул ей, она широко и игриво ему заулыбалась. Это придало мне смелости.

— Завтра увидимся? — спросил я воркующим шепотом. — Только без Люси, ладно?

Она вскинула на меня свои маленькие ледяные глазки и сказала:

— Не взнуздал, а поехал?

«Ничего себе!..» — подумал я.

Мы вернулись в свою кабинку, но тут начался новый танец.

— Теперь с Люсей, — приказала Тамара.

Танцующих прибавилось. Люся сама прижалась ко мне. Я затанцевал лихо, всех расталкивая.

— И этих толкни! — просила она, и я толкал.

Мы славно натолкались. Она была так же далека от совершенства, как и ее подруга, но в ней было что-то челове-че-ское, и потому я спросил воркующим шепотом:

— Люся, а хорошо бы завтра встретиться, а?

— Не шутишь? — засмеялась она.

— Только без Тамары, ладно?

— А ты не шутишь?

Потом я снова танцевал с Тамарой, потом с Люсей, и еще с Тамарой, и опять с Люсей...

— Ну как, договоримся на завтра? — спросил я Люсю.

— Не взнуздал, а поехал?

Мы воротились в кабину. Тамара обстоятельно доедала киевскую котлету.

— А икру-то не заказал, — сказала она, — пожалел. Тут я увидел в центре стола на тарелке громадную порцию икры. Люся расхохоталась.

— Вот так-то, — сказала Тамара и потянулась ложкой к икре. Вдалеке маячил официант. Я подошел к нему и покался.

— Сейчас милицию позову, — сказал он спокойно, — акт составим.

Я предложил ему часы и задаток, но он был неумолим.

— Послушай, — сказал я, — у меня новое пальто, заграничное. Ты его возьми пока, а завтра я его у тебя выкуплю. Пожалуйста...

Мы прошли в гардероб. Пальто было вишневого цвета с зеленым отливом. Оно ему понравилось. Я нахлобучил шляпу и направился к выходу.

— Девочек-то своих позабыл, — сказал он по-свойски.

— Они не мои, — сказал.

— «Динаму» крутанули? — посочувствовал он.

— Нет, — сказал я, — я сам этого хотел. На улице было холодно. Шел первый снег.

Июнь, 1978

ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ

Вспоминаю, как встречал маму в 1947 году.

Мы были в разлуке десять лет. Расставалась она с двенадцатилетним мальчиком, а тут был уже двадцатидвухлетний молодой человек, студент университета, уже отвоевавший, раненый, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно.

Мы были в разлуке десять лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук — теперь все это хорошо известно, теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударяло и ранило...

Тогда десять лет были для меня громадным сроком, не то что теперь: годы мелькают, что-то пощелкивает, словно в автомате, так что к вечеру, глядишь, и еще нескольких как не бывало, а тогда почти вся жизнь укладывалась в этот срок и казалась бесконечной, и я думал, что если я успел столько прожить и стать взрослым, то уж мама моя — вовсе седая, сухонькая старушка... И становилось страшно.

Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта, и поступил в Тбилисский университет, и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетя, переехавшая в другой город. Учился я на филологическом факультете, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы — не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше? Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме.

Было несколько фотографий, на которых она молодая, с большими карими глазами; гладко зачесанные волосы с пучком на затылке, темное платье с белым воротником, строгое лицо, но губы вот-вот должны дрогнуть в улыбке. Ну, еще запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный.

За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу взаймы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался — теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал?

Мы были одиноки — и он, и я.

Думаю, что ему несладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании таких же, как я, голодных, торопливых, возбужденных, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики и смех и звон стаканов, шепот и поцелуи, и он, как видно по всему, с отвращением терпел нашу возню и презирал меня.

Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство: ни слова упрека не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной, и, если я иногда соседски просил у него соли, или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону.

В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уж и не помню, где я шлялся. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок.

— Телеграмма, — сказал он шепотом.

Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай пятьсот первым целую мама». Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажег керосинку, потом погасил ее и поставил чайник. Затем принялся подметать у своего кухонного столика, но не домел и принялся скрести клеенку...

Вот и свершилось самое неправдоподобное, да как внезапно! Привычный символ приобрел четкие очертания. То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым.

— Караганда? — прошелестел Меладзе.

— Да, — сказал я печально.

Он горестно поцокал языком и шумно вздохнул.

— Какой-то пятьсот первый поезд, — сказал я, — наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?

— Нэт, — шепнул он, — нэ ошибка. Пиатсот первый — значит пиатсот веселый.

— Почему веселый? — не понял я.

— Товарные вагоны, кацо. Дольго идет — всем весело. — И снова поцокал.

Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной. Утром я отправился на вокзал.

Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал Верийский спуск и летел дальше по улице Жореса к вокзалу, и я старался представить себя среди вагонов и толпы, и там, в самом бурном ее водовороте, мелькала седенькая старушка, и мы бросались друг к другу. Потом мы ехали домой на десятом трамвае, мы ужинали, и я отчетливо видел, как приятны ей цивилизация, и покой, и новые времена, и новые окрестности, и все, что я буду ей рассказывать, и все, что я покажу, о чем она забыла, успела забыть, отвыкнуть, плача над моими редкими письмами...

Поезд под странным номером действительно существовал. Он двигался вне расписания, и точное время его прибытия было тайной даже для диспетчеров дороги. Но его тем не менее ждали и даже надеялись, что к вечеру он прибудет в Тбилиси. Я вернулся домой. Мыл полы, выстирал единственную свою скатерть и единственное свое полотенце, а сам все время пытался себе представить этот миг, то есть как мы встретимся с мамой и смогу ли я сразу узнать ее — нынешнюю, постаревшую, сгорбленную, седую, а если не узнаю, ну не узнаю и пробегу мимо, и она будет меня высматривать в вокзальной толпе и сокрушаться, или она поймет по моим глазам, что я не узнал ее, и как это все усугубит ее рану...

К четырем часам я снова был на вокзале, но пятьсот веселый затерялся в пространстве. Теперь его ждали в полночь. Я воротился домой и, чтоб несколько унять лихорадку, которая меня охватила, принялся гладить скатерть и полотенце, подмел комнату, вытряс коврик, снова подмел комнату... За окнами был май. И вновь я полетел на вокзал в десятом номере трамвая, в окружении чужих матерей и их сыновей, не подозревающих о моем празднике, и вновь с пламенной надеждой возвращаться обратно уже не в одиночестве, обнимая худенькие плечи... Я знал, что, когда подойдет к перрону этот бесконечный состав, мне предстоит не раз пробежаться вдоль него, и я должен буду в тысячной толпе найти свою маму, узнать, и обнять, и прижаться к ней, узнать ее среди тысяч других пассажиров и встречающих, маленькую, седенькую, хрупкую, изможденную...

И вот я встречаю ее. Мы поужинаем дома. Вдвоем. Она будет рассказывать о своей жизни, а я — о своей. Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну случилось, ну произошло, а теперь мы снова вместе...

...А потом я поведу ее в кино, и пусть она отдохнет там душою. И фильм я выбрал. То есть даже не выбрал, а был он один-единственный в Тбилиси, по которому все сходили с ума. Это был трофейный фильм «Девушка моей мечты» с потрясающей, неотразимой Мариной Рёкк в главной роли.

Нормальная жизнь в городе приостановилась: все говорили о фильме, бегали на него каждую свободную минуту, по улицам насвистывали мелодии из этого фильма, и из распахнутых окон доносились звуки фортепиано все с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами и пением, с любовными приключениями, с комическими ситуациями. Яркое, шумное шоу, поражающее воображение зрителей в трудные послевоенные годы. Я лично умудрился побывать на нем около пятнадцати раз, и был тайно влюблен в роскошную, ослепительно улыбающуюся Марику, и, хотя знал этот фильм наизусть, всякий раз будто заново видел его и переживал за главных героев. И я не случайно подумал тогда, что с помощью его моя мама могла бы вернуться к жизни после десяти лет пустыни страданий и безнадежности. Она увидит все это, думал я, и хоть на время отвлечется от своих скорбных мыслей, и насладится лицезрением прекрасного, и напится миром, спокойствием, благополучием, музыкой, и это все вернет ее к жизни, к любви и ко мне... А героиня? Молодая женщина, источающая счастье. Природа была щедра и наделила ее упругим и здоровым телом, золотистой кожей, длинными, безукоризненными ногами, завораживающим бюстом. Она распахивала синие смеющиеся глаза, в которых с наслаждением тонули чувственные тбилисцы, и улыбалась, демонстрируя совершенный рот, и танцевала, окруженная крепкими, горячими, беспечными красавцами. Она сопровождала меня повсюду и даже усаживалась на старенький мой топчан, положив ногу на ногу, уставившись в меня синими глазами, благоухая неведомыми ароматами и австрийским здоровьем. Я, конечно, и думать не смел унизить ее грубым моим бытом, или послевоенными печалью, или намеками на горькую карагандинскую пустыню, перерезанную колючей проволокой. Она тем и была хороша, что даже и не подозревала о существовании этих перенаселенных пустынь, столь несовместимых с ее прекрасным голубым Дунаем, на берегах которого она танцевала в счастливом неведении. Несправедливость и горечь не касались ее. Пусть мы... нам... но не она... не ей.

Я хранил ее как драгоценный камень и время от времени вытаскивал из тайника, чтобы полюбоваться, впиваясь в экраны кинотеатров, пропахших карболкой.

На привокзальной площади стоял оглушительный гомон. Все пространство перед вокзалом было запружено толпой. Чемоданы и узлы громоздились на асфальте, смех, и плач, и крики, и острые слова... Я понял, что опоздал, но, видимо, ненадолго, и еще была надежда... Я спросил сидящих на вещах людей, не пятьсот ли первым они прибыли. Но они оказались из Батуми. От сердца отлегло. Я пробился в справочное сквозь толпу и крикнул о пятьсот проклятом, но та, в окошке, задерганная и оглушенная, долго ничего не понимала, отвечая сразу нескольким, а когда поняла наконец, крикнула мне с ожесточением, покрываясь розовыми пятнами, что

пятьсот первый пришел час назад, давно пришел этот сумасшедший поезд, уже никого нету, все вышли час назад, и уже давно никого нету...

На привокзальной площади, похожей на воскресный базар, на груди чемоданов и тюков сидела сгорбленная старуха и беспомощно озиралась по сторонам. Я направился к ней. Что-то знакомое показалось мне в чертах ее лица. Я медленно переставлял одеревеневшие ноги. Она заметила меня, подозрительно оглядела и маленькую ручку опустила на ближайший тюк.

Я отправился пешком к дому в надежде догнать маму по пути. Но так и дошел до самых дверей своего дома, а ее не встретил. В комнате было пусто и тихо. За стеной кашлянул Меладзе. Надо было снова бежать по дороге к вокзалу, и я вышел и на ближайшем углу увидел маму!.. Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все та же, высокая и стройная, какой помнилась, в сером ситцевом платье, помятом и нелепом. Сильная, загорелая, молодая. Помню, как я был счастлив, видя ее такой, а не сгорбленной и старой.

Были ранние сумерки. Она обнимала меня, терлась щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре. Прохожие не обращали на нас внимания: в Тбилиси, где все целуются при встречах по многу раз на дню, ничего необычного не было в наших объятиях.

— Вот ты какой! — приговаривала она. — Вот ты какой, мой мальчик, мой мальчик, — и это было как раньше, как когда-то...

Мы медленно направились к дому. Я обнял ее плечи, и мне захотелось спросить, ну как спрашивают у только что приехавшего: «Ну как ты? Как там жилось?..» — но спохватился и промолчал.

Мы вошли в дом. В комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Эти большие, карие, миндалевидные глаза были теперь совсем рядом. Я заглянул в них... Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний, и я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее: «Мамочка, ты же видишь — я здоров, все хорошо у меня, и ты здоровая и такая же красивая, и все теперь будет хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе...» Я повторял про себя эти слова многократно, готовясь к первым объятиям, к первым слезам, к тому, что бывает после десятилетней разлуки... И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными, она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице... «Уж лучше бы она рыдала», — подумал я. Она закурила дешевую папиросу. Провела ладонью по моей голове...

— Сейчас мы поедем, — сказал я бодро. — Ты хочешь есть?

— Что? — спросила она.

— Хочешь есть? Ты ведь с дороги.

— Я? — не поняла она.

— Ты, — засмеялся я, — конечно, ты...

— Да, — сказала она покорно, — а ты? — И, кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть все так же — руки на коленях...

Я выскочил на кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки. Нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепенулась: вот какой у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пересиливаем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну папиросу за другой... Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой снедью: пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается... Конечно, после всего, что она перенесла, вдали от дома, от меня... сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо...

Когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобио.

— Что вы, — сказал я, — у нас все есть...

— Дэржи, кацо, — сказал он угрюмо, — я знаю... Я взял у него миску, но он не уходил.

— Пойдемте, — сказал я, — я познакомлю вас с моей мамой, — и распахнул дверь.

Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал — при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято: очень приятно, очень приятно... и назовет себя, но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени.

— Присаживайтесь, — сказал я и подставил ему стул.

Он уселся напротив. Он тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели. На фоне окна они казались неподвижными статуями, застыв в одинаковых позах, и профили их казались мне сходными.

О чем они говорили и говорили ли, пока я выбегал в кухню, не знаю. Из комнаты не доносилось ни звука. Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях и вся она подалась немного вперед, словно прислушиваясь.

— Батык? — произнес в тишине Меладзе. Мама посмотрела на меня, потом сказала:

— Жарык... — и смущенно улыбнулась.

Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шепотом, одними губами. Меладзе цокал языком и качал головой. Я вспомнил, что Жарык — это станция, возле которой находилась мама, откуда иногда долетали до меня ее письма, из которых я узнавал, что она здорова, бодра и все у нее замечательно, только ты учишь, учишь хорошенько, я тебя очень прошу, сыночек... и туда я отправлял известия о себе самом, о том, что я здоров и бодр, и все у меня хорошо, и я работаю над статьей о Пушкине, меня все хвалят, ты за меня не беспокойся, и уверен, что все в конце концов образуется и мы встретимся...

И вот мы встретились, и сейчас она спросит о статье и о других безответственных баснях...

Меладзе отказался от чая и исчез. Мама впервые посмотрела на меня осознанно.

— Он что, — спросил я шепотом, — тоже там был?

— Кто? — спросила она.

— Ну кто, кто... Меладзе...

— Меладзе? — удивилась она и посмотрела в окно. — Кто такой Меладзе?

— Ну как кто? — не сдержался я. — Мама, ты меня слышишь? Меладзе... мой сосед, с которым я тебя сейчас познакомил... Он тоже был... там?

— Тише, тише, — поморщилась она. — Не надо об этом, сыночек...

О Меладзе, сопящий и топчущийся в одиночестве, ты тоже ведь когда-то был строен, как кизиловая ветвь, и твое юношеское лицо с горячими и жгучими усиками озарялось миллионами желаний. Губы поблекли, усы поникли, вдохновенные щеки опали. Я смеялся над тобой и исподтишка показывал тебя своим друзьям: вот, мол, дети, если не будете есть манную кашу, будете похожи на этого дядю... И мы, пока еще пухлогубые и остроглазые, диву давались и закатывались, видя, как ты неуклюже топчешься, как настороженно высовываешься из дверей... Чего ты боялся, Меладзе?

Мы пили чай. Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался. И стал торопливо врать о своем житье. Она как будто слушала, кивала, изображала на лице интерес, и улыбалась, и медленно жевала. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь...

— Да ничего, — принялся я утешать ее, — я вымою чайник, это чепуха. На керосинке, знаешь, всегда коптится.

— Бедный мой сыночек, — сказала в пространство и вдруг заплакала.

Я ее успокаивал, утешал: подумаешь, чайник. Она отерла слезы, отодвинула пустую чашку, смущенно улыбнулась.

— Все, все, — сказала, — не обращай внимания, — и закурила.

Каково-то ей там было, подумал я, там, среди солончаков, в разлуке?..

Меладзе кашлянул за стеной.

Ничего, подумал я, все наладится. Допьем чай, и я поведу ее в кино. Она еще не знает, что предстоит ей увидеть. Вдруг после всего, что было, голубые волны, музыка, радость, солнце и Марика Рёкк, подумал я, зажмурившись, и это после всего, что было... Вот возьми самое яркое, самое восхитительное. Самое драгоценное из того, что у меня есть, я дарю тебе это, подумал я, задыхаясь под тяжестью собственной щедрости... И тут я сказал ей:

— А знаешь, у меня есть для тебя сюрприз, но для этого мы должны выйти из дому и немного пройтись...

— Выйти из дому? — И она поморщилась.

— Не бойся, — засмеялся я. — Теперь ничего не бойся. Ты увидишь чудо, честное слово! Это такое чудо, которое можно прописать вместо лекарства... Ты меня слышишь? Пойдем, пойдем, пожалуйста...

Она покорно поднялась.

Мы шли но вечернему Тбилиси. Мне снова захотелось спросить у нее, как она там жила, но не спросил: так все хорошо складывалось, такой был мягкий, медовый вечер, и я был счастлив идти рядом с ней и поддерживать ее под локоть. Она была стройна и красива, моя мама, даже в этом сером помятом ситцевом, таком не тбилисском платье, даже в стоптанных сандалиях неизвестной формы. Прямо оттуда, подумал я, и — сюда, в это ласковое тепло, в свет сквозь листву платанов, в шум благополучной толпы... И еще я подумал, что, конечно, нужно было заставить ее переодеться, как-то ее прихорошить, потому что, ну что она так, в том же, в чем была там... Пора позабывать.

Я вел ее по проспекту Руставели, и она покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Пока я покупал билеты, она неподвижно стояла у стены, глядя в пол. Я кивнул ей от кассы — она, кажется, улыбнулась.

Мы сидели в душном зале, и я сказал ей:

— Сейчас ты увидишь чудо, это так красиво, что нельзя передать словами... Послушай, а там вам что-нибудь показывали?

— Что? — спросила она.

— Ну, какие-нибудь фильмы... — и понял, что говорю глупость, — хотя бы изредка...

— Нам? — спросила она и засмеялась тихонечко.

— Мама, — зашептал я с раздражением, — ну что с тобой? Ну, я спросил... Там, там, где ты была...

— Ну, конечно, — проговорила она отрешенно.

— Хорошо, что мы снова вместе, — сказал я, словно опытный миротворец, предвкушая наслаждение.

— Да, да, — шепнула она о чем-то своем.

...Я смотрел то на экран, то на маму, я делился с мамой своим богатством, я дарил ей самое лучшее, что у меня было, зал заходил в восторге и хохоте, он стонал, рукоплескал, подмурлыкивал песенки... Мама моя сидела, опустив голову. Руки ее лежали на коленях.

— Правда, здорово! — шепнул я. — Ты смотри, смотри, сейчас будет самое интересное... Смотри же, мама!..

Впрочем, в который уже раз закопошилась в моем скользющем и шатком сознании неправдоподобная мысль, что невозможно совместить те обстоятельства с этим ослепительным австрийским карнавалом на берегах прекрасного голубого Дуная, закопошилась и тут же погасла...

Мама услышала мое восклицание, подняла голову, ничего не увидела и поникла вновь. Прекрасная обнаженная Марика сидела в бочке, наполненной мыльной пеной. Она мылась как ни в чем не бывало. Зал благоговел и гудел от восторга. Я хохотал и с надеждой заглядывал в глаза маме. Она даже попыталась вежливо улыбнуться мне в ответ, но у нее ничего не получилось.

- Давай уйдем отсюда, — внезапно шепнула она.
- Сейчас же самое интересное, — сказал я с досадой.
- Пожалуйста, давай уйдем...

Мы медленно двигались к дому. Молчали. Она ни о чем не расспрашивала, даже об университете, как следовало бы матери этого мира.

После пышных и ярких нарядов несравненной Марики мамино платье казалось еще серей и оскорбительней.

— Ты такая загорелая, — сказал я, — такая красивая. Я думал увидеть старушку, а ты такая красивая...

— Вот как, — сказала она без интереса и погладила меня по руке. В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег. Себе — на топчане, ей — на единственной кровати. Она попыталась сопротивляться, она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчане, да, да, нет, нет, я тебя очень прошу, ты должен меня слушаться (попыталась придать своему голосу шутливые интонации), я мама... ты должен слушаться... я мама... — и затем, ни к кому не обращаясь, в пространство, — ма-ма... ма-ма...

Я вышел в кухню. Меладзе в нарушение своих привычек сидел на табурете. Он смотрел на меня вопросительно.

- Повел ее в кино, — шепотом пожаловался я, — а она ушла с середины, не захотела...
- В кино? — удивился он. — Какое кино, кацо? Ей отдыхать надо...
- Она стала какая-то совсем другая, — сказал я. — Может быть, я чего-то не понимаю...

Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит...

Он поцокал языком.

— Когда человек нэ хочит гаварить лишнее, — сказал он шепотом, — он гаварит мэдлэнно, долго, он думает, панимаешь? Ду-ма-эт... Ему нужна время... У нэго тэперь привычка...

— Она мне боится сказать лишнее? — спросил я. Он рассердился:

— Нэ тэбэ, нэ тэбэ, генацвале... Там, — он поднял вверх указательный палец, — там тэбя нэ било, там другие спрашивали, зачэм, почэму, панимаэшъ?

— Понимаю, — сказал я.

Я надеюсь на завтрашний день. Завтра все будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжелую ношу минувшего. Да, мамочка? Все забудется, все забудется, все забудется... Мы снова отправимся к берегам голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой... да, мамочка?..

— Купи ей фрукты... — сказал Меладзе.

— Какие фрукты? — не понял я.

— Черешня купи, черешня...

...Меж тем и сером платье своем, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчане. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась, так знакомо, просто, по-вечернему.

— Мама, — сказал я с укоризной, — на топчане буду спать я.

— Нет, нет, — сказала она с детским упрямством и засмеялась...

— Ты любишь черешню? — спросил я.

— Что? — не поняла она.

— Черешню ты любишь? Любишь черешню?

— Я? — спросила она...

Декабрь, 1985

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

Посвящаю Зое и Свету

Вспоминаю, как провожал маму в 1949 году.

Да, провожал. Так уж случилось. В 47-м встречал из лагеря, а тут провожал. Тогда многих провожали, и не на день, и не на два, а на долгие сроки.

После всего, что было, ее арестовали снова. Мы узнали об этом в одну из отвратительных ночей, когда в наш дом ввалился человек, у которого в Кировакане мама снимала угол. Он приехал около шести часов поздним поездом, чтобы рассказать нам об этом, о последнем ее прости... Впрочем, он мог бы и не приезжать. Все равно я забыл его имя. Добрые дела не запоминаются. И чего было приезжать, когда ее уже забрали? Написал бы письмо, записочку бы передал со случайной оказией. Мог бы и не беспокоиться. Что тут поделаешь?

Он сидел на кухне, сыпал пепел на пол, на брюки, тяжело вздыхал. Тетя Сильвия плакала негромко, почти шепотом. Лампочка почему-то источала желтый свет. Погода за окном была мерзейшая. Все как-то сошлось, совпало, а человек должен был выдержать, не распасться от тоски и ужаса беспомощности... Ну, мы и держались, как могли, и еще гадали: это что — чесеир? Или каордэ? То есть «член семьи изменника родины» или «контрреволюционная деятельность»...

Когда она вернулась в 1947 году после десяти лет лагерей, не было ни реабилитации, ни даже помилования, просто отбыла свой срок и вернулась. В столичных и больших городах жить ей не разрешалось, и тетя Сильвия с большим трудом устроила ее в Кировакане кассиршей в какой-то артели. А мы жили в Тбилиси, и я был студентом университета. К тому времени я уже кое-что начал понимать, какой-то робкий анализ событий совершался в моей затуманенной голове, и возникали горькие вопросы: «За что?», «Почему?», «Ради чего?»...

Тетя Сильвия была постоянно настороже: такое уж было время. Она заглядывала в мои глаза, вслушивалась в мои интонации, они ее тревожили. И она, как бы отвечая на мои немые вопросы, время от времени восклицала:

— Какая мама все-таки счастливая! Не правда ли? Вот вернулась, жива-здоровая. И мы снова вместе, — и вглядывалась в меня очень пристально.

— Ну конечно, — говорил я бодро, чтобы не волновать тетю Сильвию. — Теперь все хорошо. Мама живет как все, работает, пишет письма, можно к ней съездить...

Но тетю Сильвию мои слова не успокаивали. Что-то ей в них чудилось опасное.

Она подхватывала мои бодрые слова тем решительнее, чем они были бодрее, и говорила громче обычного:

— А что? Разве не так? Как она мучилась в лагере, арестантка! А теперь свободная женщина, даже деньги тебе присылает... Разве не так?..

Или восклицала:

— Что бы мы делали без Сталина? Как бы жили? — и внимательно вглядывалась в меня.

— Так бы и жили, — срывалось у меня, — а может, и не хуже.

— А война? — еще повышала она голос. — Какую войну вынесли! Ты разве этого не понимаешь? Ты что, все забыл?..

— Не забыл, — говорил я, чтобы не волновать ее.

— Карточки отменили...

Карточки продуктовые действительно были отменены.

— Цены понизили...

И цены медленно двигались к довоенным...

— ...и вот мама на свободе!

— Ну конечно, конечно, — сдавался я. — Разве я спорю?

— Ну вот, — успокаивалась она, — а то брякнешь где-нибудь такое, — и растерянно улыбалась.

И вот мама трудилась кассиршей и как-то умудрялась выкраивать мне маленькие суммы из своей зарплаты. Мы переписывались. Все как будто снова вставало на свои места, и не было смысла роптать, и стоило преклониться перед яростной мудростью тети Сильвии. Мы быстро привыкали к печалям и все умели объяснять, и, если случался маленький, пусть даже совсем ничтожный праздник, даже не праздник, а легкое послабление, раздували его до несусветных размеров, радуясь и ликуя.

Так вот и ликовали, когда она вернулась, когда удалось устроить ее в артель, когда повезло ей снять угол в домике на окраине — у хозяина, не испугавшегося появления в его мирном, благополучном доме этой пропыленной, прожаренной в карагандинских просторах женщины с потускневшими зрачками. Да, радовались. Вот ведь как устроен человек! Понапрасну не восклицали, не задавали проклятых вопросов: «За что?», «Почему?», «Во имя чего?». Так, будто бы все было уже известно, все было всем ясно и не хотелось омрачать праздник.

Правда, иногда эти вопросы все же вырывались наружу. Мы, конечно, произносили их шепотом, как бы между прочим, как бы не придавая им значения, и отвечали на них суетливо, полунамеками, в которых сами лишь и могли разобраться. Но иногда шепот надоедал. Тогда тетя Сильвия говорила:

— А что делать, мой дорогой? Если у государства много врагов, как-то ведь надо защищаться...

Но это не могло относиться к маме, и она тут же говорила:

— Ну, с мамой произошла ошибка, конечно, — и всматривалась в меня. — Когда-нибудь, мой дорогой, все это выяснится.

— Я не сомневаюсь, — отвечал я с грустью. Она кусала губы и вдохновенно произносила:

— Если бы ты был на их месте... — и кивала на потолок.

«Их место» мне не грозило: я твердо был на своем.

И теперь ее арестовали снова. Пришли, как всегда, ночью. Перерыли комнату, угол, который она снимала.

— Нашли что-нибудь? — усмехнулся я.

— Эээ, ничего не нашли, — сказал ее хозяин, снова роняя пепел.

— Если ничего, значит, все в порядке, — сказал я.

— А что могли найти! — вскричала тетя Сильвия. — Что у нее было, кроме старого белья?

— Ничего не было, — подтвердил хозяин. — Я сидел рядом, а она собиралась. Они искали. Перерыли ее постель, чемодан, а что могли найти?

— Она плакала? — спросил я шепотом.

— Почему она должна была плакать? — крикнула тетя Сильвия. — Что она, виноватая?

— Нет, не плакала, — сказал он, — извинялась передо мной, бедная. А что я? Как будто я не понимаю. Я все понимаю.

— У меня большие связи, — сказала тетя Сильвия, утирая слезы, — они еще не представляют, что я могу. — Лицо ее уже пылало вдохновением. Хозяин маминого угла смотрел на нее с изумленной надеждой. — У меня такие связи!.. — сказала она. — Им не поздоровится... — И посмотрела на меня победно.

Он сидел, и кивал, и сыпал пепел. Потом он ушел. Как-то боком выскользнул в дверь. Стояла ночь. Сыпал монотонный дождь. «Что она может сделать?» — подумал я.

— Ты не расстраивайся, не вешай носа, — сказала она, — я свою сестру в обиду не дам... Я им еще покажу!.. Второй раз... неизвестно за что... где... сколько можно!

Я-то знал, что она ничего не может. Не было никаких связей, я знал. Да и кто тогда мог? И все-таки ее горячая убежденность как-то успокаивала. А что, если есть? Есть что-то там,

кто-то там, неведомый мне, или, например, жене большого человека одно слово — и все изменится, и мы еще посмеемся... А если нет, думал я, значит, снова тюрьма? И допросы, и лагерь, и унижение, и карагандинские пески...

Я был студентом четвертого курса. Я знал, что меня терпят и чей-то глаз с небесной поволокой посматривает за мной. Я все время затылком ощущал чье-то упрямое присутствие. Будущее мое было туманно, несмотря на красивые лозунги и возвышенные слова о величии человека... Да, кто-то, может быть, и был велик и прекрасен, но мне лично не улыбалось ничего.

Ах, я ошибся, утверждая, что у нее нет связей, ошибся!

И вот как это произошло.

Она начала куда-то исчезать. Какие-то глухие телефонные переговоры будоражили наш дом. Назначались свидания с кем-то где-то, и казалось, весь город захвачен этим происшествием, и все прохожие поглядывают на меня — кто с осуждением, кто с сочувствием, то подозрительно, то печально. Вдобавок ко всему — поздняя осень с дождями и пронзительным ветром. Где мама? В тюрьме? В вагоне ли с зарешеченными окнами?

Па красивом лице тети Сильвии не отражалось ничего, кроме упрямой сосредоточенности. Неотвратимости судьбы она противопоставляла непреклонность, и веру, и женскую хитрость... И телефонную трубку обволакивали лукавство, мольбы, дружеские интонации, и между всем этим не было границ. Все перемешивалось, переливалось одно в другое. Меня захватывала эта таинственная мелодия. Это была школа нашей жизни, способ существования... «Вы же ее знаете...», или «Конечно, конечно, вы правы...», или «Вы мне не верите?..», или «Я понимаю вас, я согласна, но все же, но все же...»

Иногда она тихо плакала, надеясь, что я ничего не вижу, над носком, который она штопала, над нехитрой нашей едой, и я видел: крупные слезы скатывались по белоснежной, по прекрасной ее щеке.

Бывало, она приводила себя в порядок, лихорадочно, торопливо, деловито, придиричливо смотрелась в зеркало, и я видел, как меняется ее облик: то обаятельная улыбка озаряла ее лицо, то суровая непреклонность, а то вдруг просительная гримаса, а то и подобострастный кивок, и царственная невозмутимость, и маска презрения... Видимо, она проигрывала перед зеркалом какие-то разговоры, какие-то с кем-то встречи, от кого хоть что-то могло зависеть в судьбе ее сестры. Я наблюдал эти горькие репетиции, а передо мной струились карагандинские пески, плыла поздняя осень. Был лагерь и колючая проволока, и вышки с часовыми, и мама в сером ватнике возле тачки...

Из утешительных слов тети Сильвии явствовало, что все это несметное множество людей, изъятых из жизни и осужденных на прозябание в тюрьмах и лагерях, что все они в чем-то виноваты, и только с мамой произошла роковая ошибка, которая вот-вот раскроется, и наступит торжество справедливости. Не очень убедительно звучало это, но я и это принимал, как маленькую надежду.

И вот не знаю, как ей удалось пробиться, разведать, выяснить, определить, но однажды она все-таки воскликнула, входя в дом:

— Мама в Тбилиси!.. Ее привезли сюда. Она в Ортачальской тюрьме!.. Теперь будет легче...

Что будет легче, я так и не понял: то ли будет легче о ней хлопотать, то ли легче будет с нею повидаться. Но повидаться нам с ней не пришлось. Свидания не разрешались, пока не состоится суд, а когда он состоится, никто не знал. Вот и продолжалась эта неукротимая деятельность тети Сильвии в надежде хоть что-нибудь выяснить, разведать, определить. О, какие усилия тратились людьми, чтобы нет, не побороть, а хотя бы несколько смягчить эту неумолимую машину нашей судьбы! Все было пущено в ход: от мелкого интриганства до высочайшего вдохновения. Как это получалось у тети моей, у красивой, неистойвой, беспомощной сорокалетней моей тети Сильвии, не мне судить. Это для высших сил. Что я? Я просто был при этом. У меня не было ни опыта, ни сноровки, только постоянная вкрадчивая тоска

безысходности, разъедающая душу. Быть может, думал я, я заслужил эту участь чем-нибудь таким, каким-нибудь неловким жестом, неосторожным шагом, непродуманным словом?

Почему, думал я, другим все: и улыбка, и будущее, и всякие праздники — все, а мне ничего? Хотя что я знал о других, варясь в своей беде?

Наступила зима, а суда все не было. Гнилая тбилисская зима, гнилые ощущения, дождь и снег, коптящая керосинка, обогревающая комнату, томительные лекции в университете и мои друзья, напрягшиеся вместе со мною. И всяческие фантазии на ту же тему: уж если снова в лагерь, то хоть не в эту пронзительную непогоду, лучше бы летом, пусть жара, пусть, чем вот это неистовство, из промерзших вагонов в отсыревшие бараки и с тачкой под снег... И мы спрашивали друг друга шепотом: «Ну что слышно? Решилось?..»

В конце концов все ведь решается, не так ли? Только нужно было набраться терпения. О, мы привыкли терпеть. Терпение стало второй натурой, воздухом, которым мы дышали, и когда этого воздуха становилось слишком мало для ничтожного вздоха, хотелось кричать и плакать. Как странно двигались мы при этом! Какие произносили несуразности, я помню, покуда однажды самым отвратительным февральским полднем не родились из колдовства тети Сильвии, из заговорщической ее суеты, из ее хождения по краю пропасти долгожданные счастливые выкрики...

Я помню, она крикнула мне в лицо, вернувшись после очередного поединка, что мы победили, что Бог есть и есть справедливость... А ты говорил, что нет справедливости, ты помнишь? Кто это говорил? Ты утверждал все это, а я верила, что она ни в чем не виновата, потому что она ни в чем не виновата, а ты говорил, что перед нами глухая стена... кто это говорил? А я верила, я знала... Не будет лагеря, не будет! Ни лагеря, ни тюрьмы... не могут невинную женщину запихать в лагерь... а ты говорил... а я говорила, что не могут...

— И что же?! — крикнул я, боясь верить. — Что же теперь?

Она наконец села в кресло, а до этого все металась по комнате, перебирала на столе какие-то бумажки, маленькая прядь отбилась от ее прекрасной прически, она ее поправляла, но ничего не могла и вдруг успокоилась, уселась и заплакала, как только она умела, бесшумно и страшно. Может быть, это были даже не слезы, а счастливая влага, источаемая душой? Кто знает...

— Вот видишь, — сказала она мне, — как важно вовремя собраться... Я их всех прижала, всех, вот они все у меня где, — и яростно потрясла сжатым кулаком, — они увидели, что она ни в чем не виновата... Какой уж тут лагерь? За что? Они дали ей ссылку, — она пристально глянула на меня, — это значит, что ей определяют место, ну там деревню, поселок какой-нибудь, и там она будет абсолютно свободна, представляешь? Будет жить в нормальном доме, ходить в магазин, в кино! — Она изучала мое лицо, я это видел.

— Какое счастье! — сказал я и попытался улыбнуться. — Сколько же ей там находиться?

— Ну, это не будет продолжаться вечно, — сказала она с обычной своей прозорливостью.

Она теребила мой чубчик. Ссылка называлась вечной, но мы, словно сговорившись, опускали это слово. Вечного ничего не бывает.

— К ней можно будет ездить, говорить по телефону..

— Хоть бы место попримечнее, — сказал я. — Даже не верится, что не будет лагеря.

Она звонила своим знакомым и говорила, что вот какое гуманное решение и вместо ужаса лагерей будет всего лишь ссылка, хотя мы живем в такое сложное время и в таком окружении, но сочли возможным вынести такое решение... бедная ее сестра, она тоже вздохнет после всего, что было, потому что какая у нее была жизнь? Все висело на волоске, никаких прав...

— Видишь ли, — сказала она мне, — такое сложное время. Конечно, мама ни в чем не виновата и могла бы не подвергаться всем этим ужасам, но мы живем в такое сложное время, и они, конечно, не могут теперь взять ее и выпустить так просто, ты понимаешь?

— Еще бы, — сказал я.

— Главное в том, — сказала она, — что мама ни в чем не виновата. Иначе разве было бы такое мягкое решение?

Казалось, что и погода за окнами помягчала. И я звонил своим друзьям: Зурабу, Володе, Филиппу, и Нате, и Додику Барткулашвили, и всем рассказывал о случившемся, и объяснял, какая разница между лагерем и ссылкой, опуская слово «вечная» как излишество. Важно ведь то, что там она будет свободным человеком. Будет ходить в кино, если захочет, и я смогу на каникулы приезжать к ней.

Но почему-то снова мы не могли добиться с нею свидания, и передач у нас не принимали, и сроки ее отправки сохранялись в глубокой тайне.

— Почему она не может поехать сама по месту своего назначения! — сокрушался я, и слово «назначение» успокаивало: оно было так буднично, не то что ссылка или вечное поселение. И снова жизнь испытывала наше терпение, и снова углублялась пропасть между «мы» и «они». Мы были беспомощны, они — таинственны и всесильны.

Однако тетя Сильвия продолжала идти напролом. Щеки ее лихорадочно пунцовели, карие глаза сверкали, непослушная прядка выбивалась из прически. С утра она надевала свои лучшие платья и отправлялась по таинственным адресам. Где уж там она бывала, в какие проникала кабинеты, кого упрасивала, у кого вымаливала — кто знает, но наконец ей и тут пофартило, и она узнала, что завтра отправят маму в арестантском вагоне с московским поездом.

Как странно теперь вспоминать те годы, когда в каждом пассажирском составе был обязательно арестантский вагон — темно-зеленый, с зарешеченными маленькими окнами. Как привычны они были тогда, как равнодушно скользили по ним наши взоры.

Вечером следующего дня, задолго до отхода московского поезда, мы были на вокзале. Дома, перед уходом, тетя Сильвия уложила в большую сумку вещи, которые, как она считала, могли бы пригодиться маме: старая кофта, теплая юбка, пара туфель, ботинки, пакет сухарей, бутылочка с подсолнечным маслом, и табак, и несколько старых журналов, и носки, и белье, и даже чайник, простой алюминиевый чайник, видавший виды, потерявший блеск, но все еще вполне годный к употреблению.

На вокзале было тихо. Все платформы были пусты. Составов не было нигде.

Я стоял с сумкой, прислонившись к чугунному столбу, а тетя Сильвия вновь отправилась на разведку, потому что очень важно было установить место, где окажется арестантский вагон. Время шло. Началось вечереть. Дождь прекратился, и только мартовский сырой и колкий ветер бесчинствовал на путях. Вернулась тетя Сильвия — разведчица моей души, — сказала, подбадривая меня, что скоро подадут состав. Мы, конечно, не представляли, как все это будет выглядеть и как мы будем передавать сумку маме.

Грязно-серые сумерки спустились на вокзал. Показался московский состав, он медленно приближался. Трудно было определить, какой из путей он выберет, но тете Сильвии было известно, что наша платформа — именно то место, которое нам нужно. Вот послышался перестук колес. Длинная змея поезда, извиваясь, приближалась, однако в последнюю минуту она изогнулась и поползла по совершенно другому пути, за второй от нас платформой. Мы заметались. Там, прямо за паровозом, и точно, просматривался арестантский вагон. Не успел состав остановиться, как пассажиры запрудили платформу. Перебегать через пути было слишком высоко. Мы оказались отрезанными от состава. Поезд, полязгав, остановился, и пассажиры полезли в вагон. Лишь арестантский вагон стоял в одиночестве — к нему никто не спешил. Я поглядел вдоль путей, где-то вдалеке виднелся переход на другую платформу.

— Смотри, смотри, — крикнула тетя Сильвия, — вон мама!

Непонятно, как успела образоваться группка людей у арестантского вагона. Около тридцати женщин с сумками, с чемоданами стояли кружком, а вокруг — плотным кольцом охрана. Среди женщин я разглядел маму в старой лагерной телогрейке, с лагерным же чемоданчиком в руке. Я замахал, она нас увидела. Мы кивали друг другу. Я выставил вперед руку с оттопыренным большим пальцем, и это должно было означать, что у нас все хорошо, пусть она о нас не беспокоится. Арестантки полезли в вагон быстрой ускользящей струйкой. Влились и исчезли, и снова возле арестантского вагона было пусто.

Тетя Сильвия вырвала у меня сумку и побежала к дальнему переходу. Быстро темнело. Машинист вскарабкался по ступенькам на паровоз. Пассажиры заканчивали посадку. Как моя тетя перебежала через пути, я не видел. В вагонах светились окна. Везде. И только в маминном вагоне господствовала темень. Затем состав дернулся и медленно заскользил. Через несколько минут его словно и не было.

Вернулась тетя Сильвия. Она успела добежать до вагона и разыскала начальника охраны. Его фамилия была Еськин. Сержант Еськин сначала и разговаривать не захотел, но все-таки смиростивился, хотя вещи передать категорически отказался. Она уговаривала его, называла дорогим, родным и плакала, и сунула ему пятьдесят рублей и тогда он согласился передать, но только чайник.

— Только чайник, — сказал он, — эта вещь в дороге нужная.

Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу.

Теперь прошло много лет. Теперь и вспоминать об этом как-то не так больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы и узнали, что чайника сержант Еськин так ей и не передал.

За что? Почему? Во имя чего?..

Впрочем, это уже не имеет значения.

1986